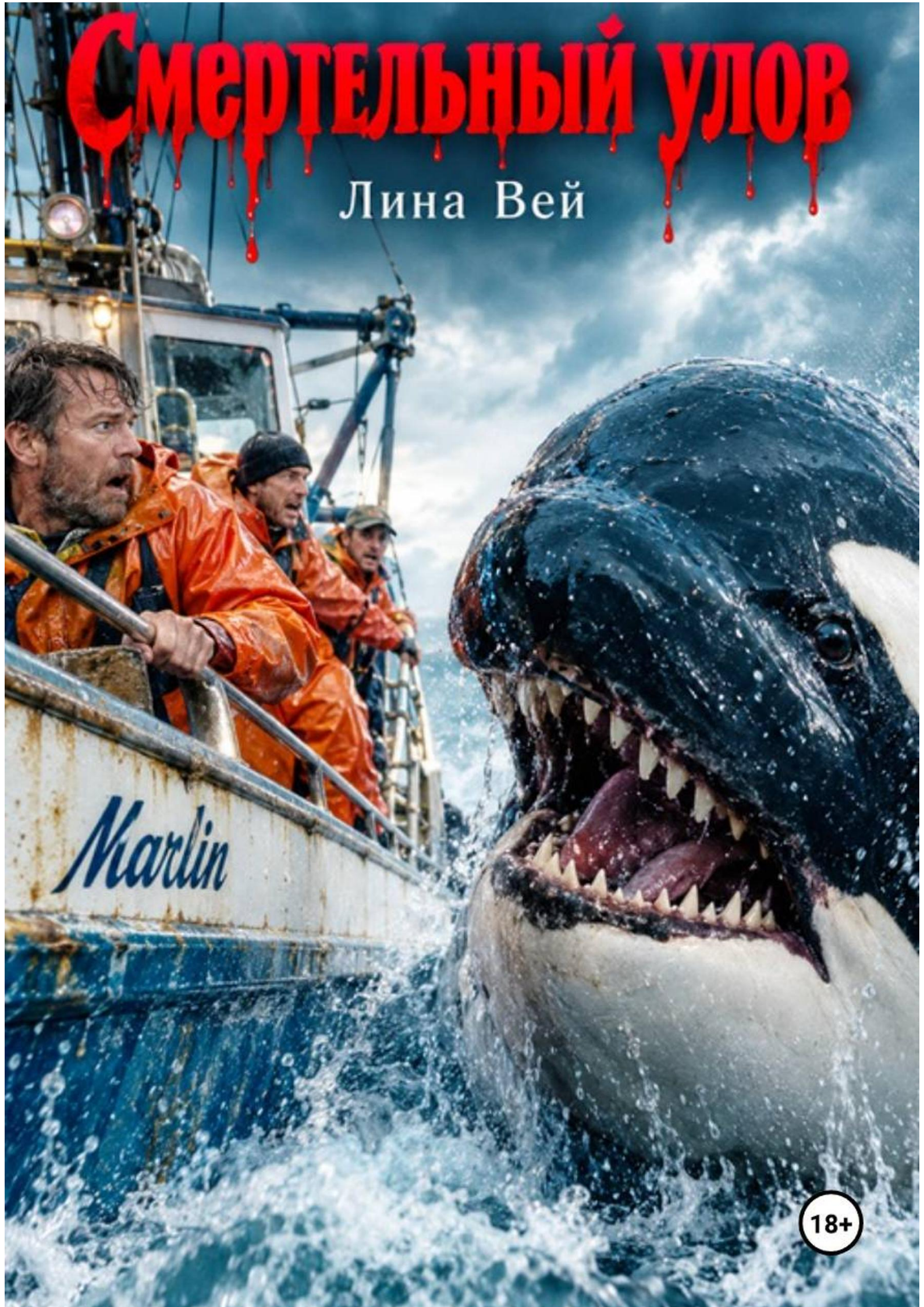


Смертельный улов

Лина Вей



18+

Лина Вей

Смертельный улов

«Автор»

2026

Вей Л.

Смертельный улов / Л. Вей — «Автор», 2026

Обычный рейс рыболовецкого судна «Марлин» должен был стать просто ещё одной строчкой в ведомости: выйти, наловить трески, вернуться, раздать деньги, забыть до следующего раза. Десять человек — у каждого свои беды и надежды, свои долги. Сеть поднимает не рыбу, а детёныша косатки. Маленького, живого, раненого. И где-то рядом, в чёрной воде, идёт его мать. Она просто следует за ним, будто знает: у людей есть то, что ей нужно. И она умеет ждать. Когда детёныш умирает, капитан принимает решение, которое звучит логично и холодно: выбросить тело. Пусть заберёт и уйдёт. Но косатка не уходит. Она не мстит в привычном смысле — она возвращает долг. По капле, по удару, по жизни. Шторм становится её союзником, вода — её оружием, а судно «Марлин» — ловушкой, из которой почти никому не выбраться. Один за другим члены экипажа сталкиваются не просто с океаном, а с чем-то, что умнее, терпеливее и злее, чем они готовы признать. Море не наказывает — оно просто приходит за своим. Выжили только четверо.

© Вей Л., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог: Тихая вода	5
Глава 1: Последний рейс сезона	10
Глава 2: Люди на борту	24
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Лина Вей

Смертельный улов

Пролог: Тихая вода

Она слышит тишину.

Не ту тишину, которую знают люди, — отсутствие звука. Нет. Под водой тишины не бывает. Тишина — это когда всё вокруг звучит ровно, привычно, как должно звучать. Когда песок на дне шуршит именно так, а не иначе. Когда течение гудит низко и ровно, как гудит оно всегда в этом месте, между двумя подводными скалами, мимо которых она ходит каждый день. Когда креветки щёлкают в своих норах — миллионы маленьких сухих щелчков, как косточки, перебираемые пальцами. Когда где-то наверху, за границей воды и воздуха, волна перекачивается и гремит, как пустая бочка.

Вот это — тишина.

Она слышит её каждый день. Каждый день своей жизни. И каждый день она слушает.

Сегодня всё звучит правильно. Песок шуршит. Течение гудит. Креветки щёлкают. Волна гремит. Всё так, как должно быть.

Но она всё равно слушает.

Потому что она — мать.

Мир для неё не выглядит так, как для нас. Мы видим глазами — свет, тень, цвет, форму. Она видит звуком.

Щёлк. Короткий, резкий, плотный звук — она посылает его вперёд, из головы, через «дыню» — жировую подушку во лбу, которая работает как линза. Щелчок летит сквозь воду — триста метров, пятьсот, километр — и бьётся обо всё, что встречает: в песок, в скалу, в рыбу, в водоросли, в воздух наверху. И возвращается обратно. Эхо. Она слышит эхо не ушами — всем телом, всей нижней челюстью, каждой косточкой, которая проводит звук в мозг, в маленькие кости внутреннего уха, которые устроены так же, как у нас, но работают иначе.

Щёлк — и она видит песок. Плоский, ровный, мягкий. Серое эхо, низкое и глухое.

Щёлк — и она видит скалу. Твёрдую, шершавую, с трещинами, в которых прячется краб. Эхо яркое, резкое, плотное.

Щёлк — и она видит рыбу. Не одну — косяк. Сотни маленьких, быстрых, серебристых тел, которые двигаются вместе, как одно существо. Эхо живое, пульсирующее, как сердце.

Щёлк — и она видит воздух. Границу. Стену, за которой кончается вода и начинается то, где она не может дышать. Эхо звонкое, тонкое, как натянутая струна.

Так она видит. Звуком. Эхом. Отражениями. Мир для неё — не картинка, а мелодия. Каждый предмет звучит по-своему. Каждый — нота. Океан — симфония, которую она слышит с первого дня и до последнего.

Но сегодня она слушает не мир.

Она слушает его.

Он рядом. В полуметре от её бока. Маленький. Совсем маленький — два с половиной метра, сто двадцать килограммов. Для нас — большой. Для неё — детёныш. Её детёныш.

Она чувствует его телом. Тепло: он тёплый, теплее воды, теплее воздуха, теплее всего, что она знает. Косатки тёплые внутри — тридцать шесть градусов, как у нас, — и он излучает это тепло, как маленький двигатель, как уголь в печке. Она чувствует это тепло сквозь воду, сквозь темноту, сквозь тишину. Ей не нужно щёлкать, чтобы знать, что он тут. Она просто знает.

Как знает мать.

Он родился семь недель назад. В тёмной воде, глубоко, далеко от поверхности. Она помнит это — каждое мгновение. Как он вышел. Как перерезала пуповину зубами, аккуратно, чтобы не задеть. Как он поднялся к поверхности — первый вдох. Она толкала его снизу, носом, нежно, нежнее, чем можно подумать про существо, которое весит семь тонн. Она поднимала его к воздуху, потому что он ещё не умел. Он ещё не знал, где верх, где низ, где воздух. Он знал только её.

И она показала.

Первые часы. Он лежал на поверхности — на воде, на воздухе, на границе миров — и дышал. Маленькими, частыми, неуверенными вдохами. Фыркал. Вздрагивал. Она рядом — в полуметре, бок о бок — и слушала его дыхание, и считала: вдох, вдох, вдох. Каждый вдох — как подарок. Каждый — доказательство, что он жив.

Потом он нырнул. Первый раз. Неумело — завалился на бок, перевернулся, испугался. Она подхватила его носом снизу, мягко, и вернула к поверхности. Он фыркнул. Она щёлкнула — коротко, тихо, ласково. Он ответил — не щелчком, ещё не умел, — писком. Тонким, дрожащим, детским. И она поняла: всё будет хорошо.

Сейчас, семь недель спустя, он умеет нырять. Умеет держаться у поверхности. Умеет дышать — не часто, не паникуя, ровно. Умеет поворачивать, останавливаться, всплывать. Умеет щёлкать — неуверенно, неловко, но щёлкает. Учится видеть.

Но он ещё не умеет бояться.

Она учит.

Сегодня они у поверхности. Ночь для неё — это не значит темнота, потому что она не видит свет так, как мы. Ночь — это когда звуки меняются. Течение гудит ровнее. Косяки рыб опускаются глубже. Дельфины затихают. Щелчки креветок становятся громче — потому что всё остальное тише. Ночь — это другая мелодия.

Он рядом. Дышит. Она слышит: вдох — длинный, тёплый, выдох — вдох. Он спит. Наполовину. Косатки не спят целиком: половина мозга спит, половина бодрствует, иначе они утонут, потому что дышать нужно осознанно; дышать — это не рефлекс, это решение. Он ещё не умеет решать. Она решает за него.

Она держится рядом. Боком к боку. Её плавник — большой, высокий, треугольный — рассекает воду медленно, лениво. Она не торопится. Некуда торопиться. Мир звучит правильно. Всё так, как должно быть.

Она щёлкает. Тихо, ритмично, как колыбельная. Не для того, чтобы увидеть, — она и так знает, что вокруг. А для него. Чтобы он слышал. Чтобы её звук был последним, что он слышит перед сном, и первым, что он услышит, когда проснётся. Чтобы он знал: она тут.

Щёлк. Щёлк. Щёлк.

Он пискнет во сне. Тонко, едва слышно. Как ребёнок, который вздрагивает и ворчит, но не просыпается.

Она отвечает низким, длинным, вибрирующим звуком. Не щелчок — другой звук, из горла, из глубины груди. Звук, который означает... она не знает, что он означает. Люди называли бы это словом. У неё нет слов. Есть звук. И он звучит как «я тут».

Она учит его. Каждый день. Так, как учила её мать, и мать её матери, и так — назад, на тысячи лет, на десятки поколений, в тьму времён, когда океан был тем же, а косатки — такие же. Знание передаётся не словами. Звуком. Движением. Примером.

Она показывает ему течение. Как его слышать. Течение звучит низко, ровно, как ветер в трубе. Если слушать внимательно, можно понять, куда оно несёт, куда нужно развернуться, где скорость, где покой. Она щёлкает в течение, и эхо возвращается другим — вытянутым, искажённым. Она разворачивается против течения, и он — за ней, не понимая зачем, но повторяя. Потом — по течению, и он чувствует: легко. Вода несёт. Это хорошо. Это экономит силы.

Она показывает ему рыб. Косяк трески — серебристое облако, пульсирующее, живое. Она щёлкает в косяк, и эхо рисует картину: сотни тел, плотных, быстрых, движущихся вместе. Он щёлкает тоже — неуверенно, тихо, но щёлкает. И видит. Ещё нечётко, ещё мутно, но видит. Его первый косяк. Его первая рыба.

Она ловит одну. Быстро, точно: боковой удар хвостом, оглушающая волна давления, и треска переворачивается, оглушённая. Она подхватывает её, несёт к нему, кладёт перед ним. Он нюхает. Тыкает носом. Не понимает. Она открывает пасть, показывает. Он копирует — неумело, с третьей попытки, но кусает. Жуёт. Глотаёт.

Его первая рыба.

Она щёлкает — коротко, одобрительно. Он пискнет — радостно, по-детски. Она чувствует его радость телом: тепло становится ярче, пульс быстрее. Он счастлив. Она — тоже. Но это слово — «счастлива» — она не знает. Она просто чувствует, что всё правильно. Что всё звучит так, как должно звучать.

Она учит его страху.

Это самое важное. Больше, чем течение. Больше, чем рыба. Страх.

Косатки боятся немногого. Они — вершина пищевой цепи. В океане нет существа, которое может их убить. Почти нет. Но есть то, чего стоит бояться. И она учит его этому.

Она показывает ему звуки.

Океан полон звуков. Большинство — знакомые, безопасные, привычные. Но есть и другие. Она слышала их всю жизнь. И каждый раз, когда слышит, её тело меняется: плавник напрягается, хвост замедляет, пульс падает. Это страх. Не паника, не ярость — тихий, холодный, древний страх, который вшит в каждую клетку, в каждый нерв, в каждое поколение.

Звук первый. Низкий, ровный, далёкий. Гул. Вибрация, которая проходит сквозь воду, сквозь тело, сквозь кости. Гул, который не прекращается. Гул, который, она знает, означает опасность. Потому что этот гул издают они. Те, кто наверху. Те, кто в воздухе.

Она не знает слова «судно». Не знает слова «лодка». Не знает слов «рыболовецкий траулер», «сеть», «трал», «лебёдка». Она знает звук. Гул. Вибрацию. И она знает, что этот звук означает: уйти. Глубже. Дальше. Прочь.

Она показывает ему. Когда гул далёкий — далёкий, как сейчас, — можно не уходить. Но нужно знать, где он. Нужно слушать. Нужно держать его в голове — как точку на карте, как ноту в мелодии. Он может стать ближе. Может стать громче. Может прийти.

Она щёлкает в сторону гула — далеко, на север, — и эхо возвращается пустое. Ничего. Только вода. Гул проходит сквозь воду, как нож, но не отражается. Или отражается, но так слабо, что она не слышит. Она знает: источник гула — не в воде. Источник — наверху. На границе. В воздухе.

Она не понимает, что это. Не может понять. Для неё это звук, который означает «уйди». Точка. Всё, что ей нужно знать.

Он не понимает тоже. Но он чувствует её тело. Чувствует, как напрягается её плавник, как замедляет хвост, как меняется её щелчок — становится реже, ниже, осторожнее. И он повторяет. Замедляет. Замирает. Слушает.

Она щёлкает снова — в сторону гула. Далеко. Гул едва слышен. Слабый, ровный, монотонный. Как сердцебиение чего-то огромного, далёкого и равнодушного.

Ещё не страшно.

Пока.

Она помнит.

Косатки помнят. Не так, как люди, — не словами, не картинками, не историями. Они помнят звуком. Каждое событие в жизни косатки — набор звуков. Мелодия. И каждая мелодия — запись. Навсегда.

Она помнит свою мать. Не лицо: у косаток нет лиц в нашем понимании. Звук. Щелчок матери — высокий, чистый, яркий, как колокол. Её колыбельная — низкая, длинная, вибрирующая, как контрабас. Её голос, когда она была недовольна, — резкий, короткий, как удар. Её голос, когда она была рядом, — мягкий, ровный, тёплый, как течение.

Мать умерла четыре года назад. Старая, усталая, с изношенным телом, которое больше не могло ловить рыбу. Она перестала есть. Легла на поверхность и перестала дышать. Просто перестала. Как будто решила: хватит. Косатки так делают — иногда. Когда знают, что время вышло.

Она была рядом. Держала мать носом у поверхности — как мать когда-то держала её. Но мать не дышала. И тепло ушло. Сначала из кончиков плавников. Потом из хвоста. Потом — из тела. И оно стало тем же, что вода. Холодное. Чужое. Не её.

Она осталась рядом на сутки. Потом ушла. Так делают косатки. Не потому, что забыли. Потому, что помнят. И память — это не тело. Память — звук. Мать звучит в ней каждый день, каждую минуту. Каждый щелчок, который она посылает, — отзвук щелчка матери. Каждый звук, которым она зовёт детёныша, — отзвук звука, которым мать звала её.

Память не умирает. Память — это и есть жизнь.

Она помнит другое.

Она помнит, что гул может стать ближе. Помнит, что гул может стать громче. Помнит, что гул — это не просто звук. Гул — это они.

Они — те, кто наверху. Она видела их. Много раз. Когда поднималась к поверхности, чтобы дышать, видела: тёмные силуэты на границе воды и воздуха. Угловатые, неуклюжие, чужие. Они двигались по поверхности не как рыбы, не как киты, не как дельфины. Они двигались иначе. Рывками. С шумом. С гулом.

Она не понимала, что это. Не понимала, зачем они тут. Но знала: они — опасность. Не потому, что они могут убить её. Они не могут. Она — семь тонн, шесть метров, она — самое сильное существо в этом океане. Но они могут... другое.

Она помнит. Давно. Ей было три года. Она была с матерью, с сёстрами, с тётками — семь косаток, семейная группа, тесная, сложенная, как одно тело. Они шли на юг, вдоль побережья, и слышали гул. Близко. Слишком близко. Мать развернула их на глубину, быстро, дружно. Они ушли. Но гул шёл за ними. Долго. Час. Два. И потом — звук, которого она никогда не слышала раньше и не слышала потом.

Крик.

Высокий, пронзительный, дрожащий. Не рыбий, не креветочный, не чайки. Другой. Живой. Тёплый. Косаточный.

Косатка. Одна из них. Сёстры? Тётки? Она не знала, кто. Она знала: кто-то из её семьи кричит. Крик длился секунду, две, три. Потом оборвался. И после — ничего. Тишина. Неправильная тишина, в которой не хватает одной ноты.

Они вернулись на следующий день. Искали. Щёлкали. Слушали. Но эхо возвращалось пустым. Одна из них исчезла. Мать звала долго, часами, низким, протяжным звуком, который нёсся на километры. Никто не ответил.

Она помнит этот звук. Звук, которым мать звала потерянную. Он звучит в ней до сих пор. И каждый раз, когда она слышит гул — близко, слишком близко, — она слышит и тот крик. Тот, который оборвался.

Гул далеко. На севере. Едва слышен.

Она слушает. Детёныш спит — наполовину, как всегда. Его дыхание ровное, тёплое, тихое. Течение несёт их на юг, медленно, лениво. Вода чёрная, тёплая, безопасная. Всё звучит правильно.

Гул далеко.

Но она помнит: гул умеет приближаться.

Она щёлкает — тихо, коротко, для себя. Эхо возвращается: песок, скала, вода, воздух, он. Всё на месте. Всё правильно.

Она прижимается к нему ближе. Её бок к его боку. Её плавник над ним, как крыша. Тепло — его тепло и её тепло — смешиваются в воде, и на секунду, на одну секунду, она чувствует: это и есть весь мир. Он. Она. Тишина. Тепло.

Гул далеко.

Она слушает.

Она всегда слушает.

Где-то на севере, за туманом, за горизонтом, в воде, которая ещё не знает о ней, а она ещё не знает о ней, — маленькое судно готовится к выходу. Старое, крепкое, с облупленной краской на борту и названием, написанным рукой человека, который давно умер: «Марлин».

На борту — десять человек. Каждый со своими бедами и надеждами. Каждый живой, тёплый, дышащий, думающий. Каждый — чей-то сын, чей-то отец, чей-то друг.

Они не знают, что она существует. Они не знают, что она слышит их. Они не знают, что гул их двигателя — нота в мелодии, которую она слушает каждый день, каждую минуту, каждую секунду.

Они не знают, что она — мать.

И что матери не забывают.

Гул далеко.

Пока.

Она щёлкает. Тихо, ритмично, как колыбельная. Он спит. Она слушает. Всё звучит правильно.

Всё так, как должно быть.

Пока.

Глава 1: Последний рейс сезона

Туман пришёл с моря ночью.

Том знал это, потому что не спал. Опять. Встал в четыре, когда за окном было ещё чёрнымчёрно, и только фонарь у причала желтел сквозь белую мглу, как глаз когото, кто не спал тоже. Том сидел на кровати в своей съёмной квартирке на втором этаже, над рыбным магазином, который не открывался до девяти, и слушал, как туман глотает звуки. Машины на дороге — тише. Чайки — ближе, будто они слезли с крыш и сели на землю. Собака гдето гавкнула три раза и замолчала, будто туман заткнул ей пасть.

Том не любил туман. Не потому, что боялся, — он ничего не боялся, по крайней мере, так он говорил себе. А потому что туман — это неопределённость. Море в тумане — это море, которое прячет. Том за тридцать лет в море привык видеть: горизонт, волну, небо. Когда видно — ты знаешь, где ты. Когда туман — ты знаешь только то, что не знаешь.

Он сидел на кровати, слушал тишину и думал: завтра. Завтра последний рейс. Потом — зима. Декабрь, январь, февраль. Шторма, ледяной ветер, десятиметровые волны. «Марлин» — двадцать два метра. Двадцать два метра против десятиметровой волны — это не смелость, это глупость. Так что последний рейс — это последний шанс. Заработать и жить до марта, до весенней путины. Не заработать — и жить до марта тоже, но по-другому. Теснее. Тише. Смотря на потолок и считая дни.

Том провёл лицо ладонями — сверху вниз, медленно, с нажимом, как будто счищал что-то. Не счищалось.

Он натянул свитер — серый, вязаный, с катышками, который носил каждую рыбалку, потому что тёплый и потому что привык. Ботинки — тяжёлые, резиновые, с металлическим носком. Куртка — промасленная, рыжая, с пятнами рыбьей крови и машинного масла, которые уже не отмыть ничем. Он посмотрел на себя в зеркало — мельком, не задерживаясь. Лицо загорелое, обветренное, с глубокими морщинами вокруг глаз, которые в пятьдесят четыре выглядели на все шестьдесят. Седая щетина — не борода, ещё не дорос, — стрижка короткая, почти под машинку. Глаза серые, светлые, цепкие. Глаза человека, который смотрит на море чаще, чем на людей.

Нормально. Сойдёт.

Он вышел на улицу.

Стейнхьер утром в октябре — это не открытка. Это не Берген с его цветными домиками и не Тромсё с северным сиянием. Это маленький, рабочий, рыбацкий городок на берегу Тронхеймского фьорда, в котором живёт четыре с лишним тысячи человек, и половина из них так или иначе связана с морем. Рыбзавод — основной работодатель. Порт — основной разговор. Море — основное занятие.

Утром городок пах. Том знал этот запах с детства — с тех пор, как отец брал его на причал, сажал на деревянный кнехт и говорил: «Сиди. Смотри. Учись». Запах был сложный, многослойный, как хороший коньяк, который Том никогда не пил, потому что не любил, но сравнение слышал и запомнил. Соль — основа, фундамент, база. Рыба — свежая, не тухлая, а живая, только что выловленная, серебристая. Водоросли — сохнувшие на солнце, когда солнце есть, а когда нет — мокрые и тяжёлые. Дым — из труб домов, из труб рыбзавода, из трубы портового буксира. И ещё — металл. Ржавый, мокрый, холодный металл причалов, лебёдок, цепей, швартовых.

Сегодня к обычному запаху примешивался туман — он пах поособому. Не водой, нет. Туман пах ожиданием. Как сцена перед спектаклем, как кухня перед ужином. Чемто, что вотвот начнётся, но ещё не началось. Том не мог бы это объяснить словами. Он чувствовал носом, как собака. Тридцать лет в море научили его нюхать погоду. Туман сегодня был густой,

плотный, с тяжёлым низовым запахом — не рыбный, не солёный. Скорее — глинистый. Скорее — глубокий. Как будто море выдохнуло что-то со дна.

Он шёл по набережной, и ноги сами находили дорогу — каждый камень, каждую трещину, каждую выбоину. Он ходил здесь тридцать лет. Каждый день, когда был в порту. Каждый день, когда не был в море. Брусчатка на набережной Стейнхёра — это не брусчатка, это карта. Карта жизни Тома. Вот этот камень, сколотый с правого края, — тут он споткнулся, когда ему было двадцать, и нёс ящик с треской, и выругался, и рыба рассыпалась, и Ларс — молодой ещё Ларс, без седины, без морщин — помог собрать. А вот эта выбоина, залитая битумом, — тут он стоял три года назад, после рейса, и звонил второй жене, и она сказала: «Хватит, Том. Я устала ждать». И он стоял, и телефон в руке, и берег, и море, и всё — после. Всё после.

Чайки орали. Чайки в Стейнхёре — это не птицы. Это местные жители. Наглые, толстые, бесстыдные, они сидели на крышах, на причалах, на лодках, на сетях и орали — требовательно, визгливо, как дети, которым не дали конфету. Одна спустилась пониже, прошла над головой Тома — низко, нахально, чуть не задев макушку крылом. Том не дёрнулся. Привык. Чайка пролетела, села на столб, посмотрела на него — жадно, оценивающе. Не рыба — не интересно. Отвернулась.

Том не любил чаек. Но уважал. Они выживали. Как все тут.

Причал номер три. Тут стоял «Марлин».

«Марлин» был стар.

Не старейший — а именно стар. Как стул, который скрипит, но держит. Как дом, который просел, но стоит. Как человек, который устал, но работает.

Двадцать два метра, стальной корпус, рыжеваточёрный, с облупленной краской на борту, где море и соль сделали своё дело. Название «Марлин» — белые буквы на носу, написанные от руки, ровно, но без претензий. Надстройка — белая, квадратная, с рубкой наверху и мостиком, на котором ржавели перила. Траловая лебёдка — посередине палубы, мощная, грязная, с потёками масла. Мачта — наклонена чуть влево, и Том каждый раз говорил себе, что надо поправить, и каждый раз забывал.

Том остановился на причале и посмотрел на судно. В тумане «Марлин» выглядел призраком — тёмный силуэт, полупрозрачный, с жёлтым огоньком на мачте, мигающим в белой мгле. Красный борт почти чёрный. Белизна надстройки — серая. Вода у борта — чёрная, неподвижная, масляная.

Том стоял и смотрел. Он так делал каждое утро перед рейсом — приходил, вставал на причале и смотрел на свой корабль. Не проверял — смотрел. Глазами, да, но не только. Чем-то ещё. Какой-то частью себя, которая не имела названия, но которая знала: сегодня судно — какое? Готовое? Сердитое? Уставшее? Болен «Марлин» или здоров?

Сегодня — не понимал. Сегодня «Марлин» стоял в тумане, и Том смотрел, и не мог понять. Не плохо — не понимал. Как будто судно было за стеной, и стена — не из тумана. Из чего-то другого.

Том тряхнул головой. Чушь. Он спрыгнул с причала на палубу. Металл гулко ответил под ботинками. Он прислушался — привычка. Палуба должна звучать определённым образом. Глухо, плотно, без дребезжания. Если дребезжит — значит, что-то разболталось. Сегодня звучала правильно.

Он обошёл палубу. Медленно, методично, по кругу — с носа на корму, по левому борту, потом по правому. Тридцать лет. Тридцать лет он делал это каждое утро перед рейсом. И каждое утро находил что-то — мелочь, ерунду, но находил. Потому что море не прощает мелочей. Море прощает только то, что ты сам нашёл и сам починил. Остальное — не прощает.

Траловые сети — сложенные в носовом трюме, сухие, спрессованные, пахнущие солью и рыбой. Том опустился на корточки, развернул край сети, проверил ячеи. Мелкие, ровные,

узлы тугие. Поплавки — на месте, не треснутые, не мятые. Грузила — на месте, тяжёлые, свинцовые, тёмные. Хорошо.

Лебёдка — посередине палубы, мощная, грязная. Том провёл рукой по тросу, нащупал каждое звено. Тёплый — от вчерашнего солнца? Нет, в тумане солнца не было. Просто — металл. Трос был новый — Эрик заменил его в прошлом рейсе, толстый, блестящий маслом. Том одобрительно хмыкнул. Эрик — единственный человек на борту, которому Том никогда не говорил «молодец». Не потому, что не ценил. Потому что Эрику не нужно было «молодец». Эрику нужно было, чтобы трос был новый, двигатель работал, а помпа не текла. Вот и всё. Хвали его, не хвали — он будет делать. Как часы. Как двигатель, который он чинил.

Клюзы — отверстия в борту, через которые проходит трос. Том зачистил их в прошлый раз, но проверил снова. Провёл пальцем по краю — гладко, без заусенцев. Заусенец на клюзе — и трос перетрётся за рейс. Заусенец на клюзе — и рейс кончится раньше, чем планировал.

Крепления — болты, гайки, скобы. Том достал из ящика с инструментами гаечный ключ, проверил каждое. Два подтянуть, один заменить. Руки делали это сами — без мыслей, без раздумий, как дыхание. Гайка — щёлк, щёлк, ту же. Ещё — щёлк. Готово. Следующий. Скоба — разболталась, заменить. Том полез в ящик, нашёл такую же, поставил, закрутил. Руки — большие, загрубевшие, со шрамами и мозолями, — двигались с точностью хирурга. Не быстро — точно. Торопиться на палубе нельзя. Торопиться на палубе — это падать за борт, это ронять пальцы в лебёдку, это резать руки тросом. Том не торопился никогда.

Он поднялся, вытер руки о тряпку, заткнутую за пояс. Оглядел палубу — с кормы. Палуба — чистая, снасти — уложены, лебёдка — на месте, трос — новый, клюзы — чистые, крепления — затянуты.

Нормально. Сойдёт.

Не идеально. «Идеально» — это новый траулер, шестьдесят метров, гидравлика, автопилот, компьютеры, каюты с душем. «Идеально» — это не «Марлин». «Марлин» — это нормально. «Марлин» — это сойдёт. Тридцать лет — и каждый раз сойдёт. Пока.

Том поднялся в рубку.

Рубка «Марлина» — маленькая, тесная, как гардеробная. Штурвал — справа, массивный, деревянный, с потёртыми ручками, которые блестели там, где ладони Тома тёрли их тридцать лет. Приборная панель — перед штурвалом, старая, с аналоговыми стрелками, которые Эрик чинил каждый рейс и которые каждый рейс ломались снова. Эхолот — маленький зелёный экран, мигающий точками. Радар — круг, по которому ползла линия, рисуя берег и суда. Радиостанция — на стене, настроенная на канал береговой охраны.

Том сел в капитанское кресло — кожаное, потрескавшееся, продавленное под его весом. Кресло помнило его. Каждую рыбалку, каждый рейс, каждую ночь, когда он сидел в нём и смотрел в темноту, и вёл судно сквозь шторм, и руки — на штурвале, и глаза — вперёд, и всё тело — напряжено, как струна, и только руки на штурвале — спокойные, ровные, потому что руки знают, а тело боится.

Он положил руки на штурвал. Холодный. Дерево впитало холод ночи, и Том почувствовал его ладонями — привычный, знакомый холод, который означал: всё настоящее, всё тут, пора.

Он посмотрел на барометр. Стрелка стояла на 1013 — ровно, спокойно, без изломов. Давление нормальное. Хорошо. Он посмотрел на термометр — плюс четыре. Нормально для октября. Посмотрел на часы — пять тридцать. До завтрашнего отхода — почти сутки. Время есть. Ещё успеется.

Том включил радио. Шорох, треск, и — голос. Бергенское радио передавало прогноз погоды: Норвежское море, северная часть, ветер югозападный, пять-семь метров в секунду, волна полтора-два метра, видимость — умеренная. К вечеру завтра — ухудшение, ветер с

севера, до пятнадцати метров. Штормовое предупреждение для районов к северу от 65й параллели.

Том выключил радио. Прогноз — прогнозом. Море — морем. Он видел прогнозы, которые ввали. И видел прогнозы, которые были точны до капли. Разница в том, что заранее не знаешь, какой прогноз сбудется, а какой нет. Поэтому — слушаешь, но не веришь. Готовишься — но не надеешься.

Он сидел в рубке, смотрел сквозь запылённое стекло на туман и думал.

Думал о рейсе. Последний перед зимним сезоном. Если повезёт — четыре дня, может, пять. Два трала, может, три. Если набрать полный трюм — тонн сорок — это триста двадцать тысяч крон. Минус топливо, минус зарплата, минус налоги, минус ремонт — останется тысяча восемьдесят. Восемьдесят тысяч на зиму. Не хватает.

Нужно два трала как минимум. А лучше — три. Но три — это лишний день, лишнее топливо, лишний риск. Топливо — шестнадцать крон за литр, полный бак — три тысячи литров. Сорок восемь тысяч крон только на топливо. Раньше было тридцать. Раньше — вообще двадцать. Раньше — лучше. Раньше всё было лучше, кроме здоровья и «Марлина».

«Марлин» держится — но как? Эрик говорит: двигатель — ещё сезон, может, два. Обшивка — тонкая, коррозия, два листа нужно менять. Лебёдка работает, но гидравлика подтекает. Трос — новый, а вот клюзы — износ. Эрик составил список — на четверть миллиона крон. У Тома нет четверти миллиона. У Тома есть восемьдесят тысяч. Если повезёт.

Если нет — не будет и этого.

Он подумал об Эрике. Эрику нужно дать премию, иначе уйдёт. А без Эрика «Марлин» — груда железа. Не судно, а металлолом. Эрик — это не механик. Эрик — это сердце. Сердце, которое чинит другое сердце — дизель, шестнадцатилиндровый, который без Эрика давно бы сдох. Эрик и двигатель — они как старая пара, которая живёт вместе так долго, что уже не понимает, где кончается один и начинается другой. Эрик слышит двигатель во сне. Двигатель слушается Эрика наяву. Разлучить — и оба заглохнут.

Восемьдесят тысяч. Минус премия Эрику — десять. Минус долг за топливо — двадцать. Остаётся пятьдесят. Пятьдесят тысяч на зиму. Это — если повезёт. Если набрать полный трюм. Если не будет шторма. Если «Марлин» дотянет.

Если, если, если.

Том не любил это слово. «Если» — это не слово, это дыра. Дыра, в которую проваливаются планы. Том не планировал — он выходил в море, ловил рыбу, возвращался. Каждый раз. Тридцать лет. Без «если». Просто — выходил. Просто — возвращался.

Но сегодня — что-то другое. Что-то, чего он не мог поймать, как рыбу, которая срывается с крючка. Не тревога — Том не тревожился, это было не в его природе. Не страх — он не боялся, он забыл, как это. Что-то лёгкое. Как запах, который ты чувствуешь, но не можешь определить. Как звук, который ты слышишь, но не можешь найти. Как тень на периферии зрения, которая исчезает, когда ты поворачиваешь голову.

Том тряхнул головой. Чушь. Суеверия. Это у Яна, не у него. Он — капитан. Он идёт в море. Он вернётся. Всё как всегда.

Он спустился на причал и пошёл к портовому офису.

Портовый офис Стейнхьера — это одноэтажное здание из серого бетона, с синей дверью и вывеской «Гавань Стейнхьер» над входом. Здание было такое же обветренное, как всё в этом порту — серое, мокрое, с потёками ржавчины по стенам и водосточной трубой, которая была прикручена на проволоку, потому что болты сгнили ещё при прошлом мэре. Рядом — мусорный контейнер, переполненный, с чайками на крышке. Чайки, естественно, орали.

Том толкнул синюю дверь. Дверь скрипнула — давно, привычно, как старый друг, который жалуется на суставы. Внутри — три комнаты. Первая — приёмная, с двумя стульями, столом и календарём на стене, который висел на одном гвозде и был открыт на октябре. Вторая

— кабинет диспетчера. Третья — кладовка, куда никто не ходил, потому что там хранились документы, которые боялись света, и пауки, которые света не боялись.

И одна сущность: Бьёрн.

Бьёрн — портовый диспетчер, шестьдесят два года, тучный, лысеющий, в очках, которые вечно сползали на кончик носа. Он сидел за столом, пил кофе и читал газету. Газету он читал каждый день — одну и ту же, потому что в Стейнхьере газету привозили раз в неделю, а Бьёрн читал её семь. Каждый день — с первой полосы. Каждый день — как впервые. Не потому, что забывал. Потому что привык. Бьёрн был из тех людей, для которых привычка — это форма любви. Он любил свой порт, свой кофе, свою газету, свой стул, свою работу. Любил привычно, ровно, без вспышек. Как фонарь у причала, который горит не потому, что ему хорошо, а потому, что его включили.

Он знал всё о каждом судне, каждом капитане и каждом рейсе, проходившем через Стейнхьер. Знал, кто кому должен, кто с кем поссорился, кто поймал больше всех, кто чуть не утонул. Информация текла через него, как вода через сито, и застревала — вся. Бьёрн был не диспетчером — он был архивом. Живым, тучным, лысеющим архивом, который помнил всё и никому не говорил, кроме тех случаев, когда нужно.

— Том, — сказал Бьёрн, не поднимая глаз от газеты. — Кофе?

— Давай.

Бьёрн налил из термоса — чёрный, крепкий, обжигающий. Термос был такой же старый, как Бьёрн, с вмятиной на боку и наклейкой «Лучший в мире начальник порта», которую кто-то (не Бьёрн) наклеил лет десять назад и которая уже наполовину отклеилась. Кофе пах так, что Том почувствовал его, не донеся до рта. Крепкий. Горький. Как жизнь, но теплее.

Том взял чашку, сел на стул напротив стола. Стул был деревянный, жёсткий, с вырезанной на спинке надписью «Бьёрн — 1998». Бьёрн вырезал сам, в день, когда получил эту должность. Вырезал перочинным ножом, аккуратно, ровно, с завитушками на буквах. Двадцать восемь лет назад. Стул с тех пор не менялся. Бьёрн — тоже.

— Бумаги готовы? — спросил Том.

Бьёрн отложил газету, открыл ящик, достал папку. Папка — коричневая, потрёпанная, с надписью «Marlin» чёрным маркером. Внутри — копии судовых документов, разрешение на вылов, квота — всё, что нужно для выхода. Том просмотрел — быстро, привычно, как врач листает карту. Подписал, вернул.

— Квоты подняли, — сказал Бьёрн, — ты слышал?

— Слышал. Пятнадцать процентов.

— Трески много. Косяки идут южнее, чем обычно. Один из траулеров из Трондхейма набрал сорок тонн за два дня. Сорок тонн, Том. Рекорд.

— Рекорды — для газет, — сказал Том. — Мне нужно сорок тонн, и я счастлив.

— Сорок тонн — это если повезёт. Рыба есть, но погода... — Бьёрн покачал головой, и очки сползли на самый кончик носа. Он поправил их указательным пальцем — привычно, не глядя. — Штормовое предупреждение на север. Ты видел?

— Видел. Иду южнее. Банки у Фроя. Там тише.

— Фроя — это лишний день хода, — Бьёрн нахмурился. — Топливо.

— Знаю.

— Хватит топлива?

— Хватит. Если не придётся гонять лишнего.

Бьёрн посмотрел на него поверх очков. Знал, что «хватит» — это «впритык». Знал, что у Тома нет запаса. Знал, как знает каждый в этом порту, что «Марлин» — последнее, что у Тома есть. Последнее и единственное. Дом — съёмный. Жена — нет. Сбережения — нет. Машина — старая, «Вольво», 1998 года, ржавая, но ездит. И «Марлин». Больше — нечего.

Бьёрн всё это знал и не говорил. Не потому, что деликатный. Потому что не его дело. Его дело — бумаги, причал, расписание. А личное — личное. В Стейнхьере так. Все всё знают. Никто ничего не говорит. Кроме тех случаев, когда нужно.

— Команда? — спросил Бьёрн, меняя тему.

— Полная. Десять человек.

— Кто?

— Ларс, Эрик, Микаэль, Бруно, Свен, Питер, Ян, Карл. И новенький — Лукас.

Бьёрн поднял бровь — медленно, как подъёмный кран. Бровь Бьёрна была его главным инструментом общения. Одна бровь — удивление. Две — недоверие. Обе плюс качание головы — беда.

— Лукас? — Одна бровь. — Это который... сын Хокона?

— Да.

— Ему же... сколько? Девятнадцать?

— Девятнадцать.

— Первый рейс?

— Первый.

Бьёрн снял очки, протёр их краем рубашки — медленно, основательно, понорвежски. Надел обратно. Том узнал этот жест — Бьёрн так делал, когда думал. Очки — это был его «режим раздумий». Снял — думаю. Надел — готов.

— Том, — сказал он, — ты уверен? Парень — сын Хокона. Хокон утонул. Мать его... ну, ты знаешь.

— Знаю.

— И ты берёшь его в последний рейс перед штормовым сезоном?

Том поставил чашку на стол. Кофе был невкусным, но горячим, и он допил его до дна. Поставил чашку — аккуратно, в центр стола, на старое круглое пятно от предыдущих чашек, которое уже не отмыть.

— Бьёрн, мне нужны руки. Свен рекомендовал. Парень крепкий, работает. А то, что отец утонул — это не проклятие. Это жизнь. Рыбаки тонут. Это профессиональный риск.

Бьёрн посмотрел на него. Долго. Так смотрят, когда хотят сказать что-то, но не говорят, потому что не их дело. Бьёрн хотел сказать многое. Хотел сказать: «Том, ты берёшь мальчишку, у которого отец утонул, в рейс, который и так рискованный. Том, ты берёшь его на судно, которое держится на честном слове и изолянте Эрика. Том, ты берёшь его в октябрь, когда море не прощает. Том, ты берёшь его, потому что тебе нужны руки, и это — правда, но не вся правда, и мы оба это знаем».

Не сказал. Не его дело.

— Ладно, — сказал он наконец. — Твоё судно, твоя команда, твоя ответственность. Но если что...

— Если что — ты первый, кто скажет «я предупреждал», — Том усмехнулся. Криво, без веселья.

— Нет, — Бьёрн покачал головой. Серьёзно, без улыбки. — Я первый, кто позвонит береговой охране.

Том замолчал. Бьёрн — тоже. Пауза. За окном — туман, чайки, гдето гуднул буксир. Бьёрн поправил очки. Том смотрел на свои руки — большие, загрубевшие, с мозолями и шрамом на правой ладони, от троса, двенадцать лет назад.

— Скажи ребятам на заправке — заправь, — сказал Том. — Три тысячи литров. Счёт пришлётся.

— Пришлю. И, Том... — Бьёрн помолчал. — Удачи.

— Удача — для тех, кто не умеет работать, — сказал Том и встал.

— Удача — для всех, — возразил Бьёрн тихо. — Просто не все в ней признаются.

Том посмотрел на него. Кивнул — коротко, без слов. Вышел.

Он шёл обратно к причалу, и туман не отступал. Стоял, как стена, белый, плотный, непроницаемый. Чайки орали — ближе, громче, наглее. Рыбзавод загудел — начал работу, и запах рыбы усилился, стал гуще, навязчивее. Гдето на рейде гуднул буксир — низко, густо, как большой кит.

Том шёл и думал. О топливе, о квотах, о трале, о цене на треску. О том, что Эрику нужно дать премию. О том, что Лукасу нужно показать, как ставить трал, и что парень наверняка будет бояться, и что бояться — нормально, главное — не показать. О том, что зима близко, и что денег мало, и что всё это он думает каждый год — и каждый год выходит, и каждый год возвращается.

Но сегодня — что-то другое. Опять. То самое чувство, которое он не мог поймать. Не тревога, не страх. Что-то лёгкое, как тень на периферии зрения. Как будто море сегодня выглядело не так. Не плохо — не так. Как будто оно чего-то ждало. Как будто тишина перед ним была не пустая, а полная — полная чем-то, что пряталось на глубине, что не показывалось, что терпеливо ждало.

Том тряхнул головой. Чушь. Суеверия. Это у Яна, не у него.

Он остановился на причале, посмотрел на «Марлин». Судно стояло в тумане, тихое, тёмное, мокрое. Жёлтый огонёк на мачте мигал — раз, два, три. Красный борт — почти чёрный. Вода — чёрная, неподвижная.

Том стоял и смотрел, и чувство — не тревога, не страх, что-то — сидело в груди, маленькое, тёплое, раздражающее, как заноза, которую не можешь вытащить, потому что не видишь.

Он тряхнул головой. Выдохнул. Шагнул на борт.

Тридцать лет. Тридцать лет он выходил в море. Каждый раз возвращался. Это соглашение. Это правило. Это всё, что у него есть.

Туман стоял. «Марлин» ждал.

К полудню туман поднялся — не весь, но достаточно, чтобы увидеть фьорд. Серая вода, серое небо, серые горы вдалеке, с белыми шапками первых снегов. Холодно. Ветер с моря — южный, слабый, но колющий, пробирающий сквозь свитер и куртку.

Том стоял на палубе и смотрел, как причал оживает. Сегодня — не выход. Сегодня — подготовка. Завтра утром — отход. Сегодня — груз, снасти, люди, топливо. Последний день на берегу. Последний день твёрдой земли под ногами.

Грузовик привёз лёд — кубики, белые, скрипучие, пахнущие зимой. Водитель — молодой, рыжий, в кепке — вылез из кабины, поздоровался кивком. Том — кивнул в ответ. Два человека, которые понимают друг друга без слов: один привозит лёд, другой принимает. Ритуал.

— Куда? — спросил водитель.

— Трюм, — сказал Том. — Левый борт.

— Понял.

Грузовик подъехал ближе, опрокинул кузов. Лёд — в ящики, ящики — на палубу. Ктото должен таскать в трюм. Но пока — никого. Команда ещё не пришла. Только Том и лёд, и туман, и «Марлин», и тишина.

Том посмотрел на часы. Одиннадцать. Команда соберётся к вечеру — ктото раньше, ктото позже. Бруно — наверняка уже на борту. Бруно всегда перебирался на судно накануне — жил в двадцати минутах езды, но предпочитал спать на борту. Говорил: «Судно должно знать, что ты рядом. Иначе оно обидится». Это звучало как шутка. Бруно так говорил — шуткой прикрывая серьёзное.

Том спустился в трюм, осмотрел. Чистый — Эрик вымыл после прошлого рейса. Стены — стальные, с потёками ржавчины, но без грязи. Пол — мокрый, но не скользкий. Ящики со льдом — можно складывать.

Он поднялся обратно. Вдохнул. Оглядел причал — пустой, мокрый, серый. Ещё бы — полдень, все на работе, все при деле. Вечером — начнётся. Придут, будут таскать ящики, проверять снасти, ругаться, шутить, пить кофе, который Карл сварит раньше всех, потому что Карл всегда варит первым. Придут, и «Марлин» оживёт. Шаги на палубе, голоса в рубке, стук ящиков в трюме, запах кофе из камбуза. Жизнь.

А пока — тишина. Туман. Лёд. Ожидание.

Том сел на кнехт. Он сидел на кнехте и смотрел на фьорд. Вода — серая, плоская, с мелкой рябью. Ветер — слабый, но постоянный. Облака — низкие, тяжёлые, как вата. Октябрь. Октябрь в Норвегии — это не месяц, это настроение. Серое, мокрое, тихое. Как будто мир устал и ждёт зимы, чтобы заснуть.

Как «Марлин». Как Том.

Бруно объявился в три часа дня.

Том услышал его раньше, чем увидел. Шаги на причале — тяжёлые, ровные, размеренные, как метроном. Бруно не ходил — он маршировал. Даже дома, даже в магазин за хлебом. Жена — Астрид — говорила: «Ты ходишь, как солдат, который опаздывает». Бруно отвечал: «Я не опаздываю. Я прихожу вовремя. Просто вовремя — это быстро».

Он поднялся на борт — спрыгнул с причала, мягко, как кот, несмотря на вес и возраст. Ботинки — стук по палубе. Рюкзак — за спиной, небольшой, армейский.

— Бруно, — сказал Том.

— Том, — сказал Бруно.

Пауза. Два человека, которые знают друг друга двенадцать лет и которым не нужны слова. Бруно сел на кнехт — свой, любимый, отполированный задами моряков.

— Туман, — сказал Бруно.

— Был, — сказал Том. — Поднимается.

— Хорошо. — Бруно посмотрел на воду. — Море тихое. Слишком тихое для октября.

Том посмотрел на него. Бруно — единственный человек, чьему чутью Том доверял так же, как своему. Может, больше. Бруно ходил в море сорок лет. Он не читал прогнозы — он их чувствовал. По запаху, по цвету воды, по тому, как чайки садятся на воду или поднимаются в воздух. По тому, как ветер треплет флаг на мачте. Бруно не говорил «шторм» — он говорил «не нравится мне сегодня», и это значило «шторм». Том научился слушать. Не слова — то, что за словами.

— Ты думаешь, будет плохо? — спросил Том.

— Не знаю, — сказал он. — Не плохое. Другое. Море сегодня — другое. Не могу объяснить.

Том кивнул. Он понимал. То же самое, что он чувствовал с утра. Не тревога, не страх. Чтото другое. Чтото, чему нет названия, но что есть. В воздухе, в воде, в тумане, в тишине.

— Я тоже чувствую, — сказал Том.

Бруно посмотрел на него. Не удивлённо — Бруно ничему не удивлялся. Но внимательно. Как смотрят на человека, который подтвердил то, что ты не хотел слышать.

— Ну, — сказал Бруно, — значит, не только мне не нравится.

Пауза. Оба смотрели на воду. Серая, плоская, тихая. Чайки сидели на причале — молча, неподвижно. Это было странно. Чайки в Стейнхьере не молчали никогда. А сегодня — молчали.

— Завтра выходим, — сказал Том.

— Знаю.

— Ты готов?

— Я всегда готов. Готовность — это не состояние. Это привычка.

Он встал, закинул рюкзак на плечо и пошёл в каюту. У двери обернулся:

— Том.

— Да?

— Если море не хочет, чтобы мы шли — мы не пойдём. А если хочет — пойдём. Но ты это знаешь.

— Знаю.

— Ну вот. — Бруно кивнул и ушёл.

Том остался на палубе. Смотрел на воду. На чаек, которые молчали. На туман, который поднимался. На «Марлин», который ждал.

Завтра.

К вечеру причал ожил.

Эрик пришёл первым — в пять, как всегда. Не объявился, не поздоровался — просто возник на палубе, как будто был тут всегда. Весь в масле, с разводами на лице, вытирая руки грязной ветошью. Короткий взгляд на Тома — и всё. Не надо слов. Эрик — из тех людей, которые говорят, когда есть что сказать. Сейчас — нечего. Двигатель проверен, помпа работает, всё работает. Эрик кивнул и ушёл вниз — в машинное отделение, в чрево «Марлина», в тепло и грохот, где ему было комфортнее, чем среди людей.

Том спустился к нему — проверить, спросить.

Эрик стоял у двигателя, положив ладонь на блок. Как слепой читает Брайль. Медленно, по памяти. Двигатель — холодный, маслянистый, молчащий. Но Эрик знал: утром, когда Том даст команду, он заведётся. Он всегда заводился. Эрик за этим следил.

— Ну? — спросил Том.

— Заведётся, — сказал Эрик, не оборачиваясь. — Как всегда.

— Лебёдка?

— Гидравлика держит. Пока.

— «Пока» — это на сколько?

— На рейс. Если повезёт — на два.

— А если не повезёт?

Эрик повернулся. Посмотрел на Тома — поверх очков, которые сползли на нос. Очки — старые, в металлической оправе, с трещиной на правом стекле, заклеенной скотчем. Эрик не менял их, потому что «работает же».

— Если не повезёт, — сказал Эрик, — я её починю. Изолентой и молитвой. Изолентой — нормально, молитвой — для подстраховки.

Том усмехнулся. Эрик — не улыбнулся. Эрик не улыбался. Это не значило, что он не смешной. Это значило, что серьёзное — серьёзно, а смешное — лишнее. Но сегодня — он пошутил. Для Эрика это значило: всё не так плохо, как может показаться. Или — так плохо, что остаётся только шутить. С Эриком никогда не понимаешь, какое.

— Топливо? — спросил Том.

— Бьёрн сказал — заправят вечером. Три тысячи литров.

— Хорошо.

— Хорошо — это когда «спасибо». А когда «хорошо» и вздох — это «боже, дай продержаться». — Эрик отвернулся к двигателю. — Даст. Продержимся.

Том поднялся на палубу. Эрик остался внизу. Как всегда.

Ларс пришёл в шесть.

Точно в шесть.

Ларс пришёл в шесть.

Точно в шесть. Не в шесть ноль одну, не в пять пятьдесят девять. В шесть. Ларс всегда приходил вовремя. Это было не правилом, не принципом — это было им. Как цвет глаз. Как рост. Он не мог прийти не вовремя, потому что это значило бы, что что-то не под контролем, а Ларс не любил, когда что-то не под контролем.

Высокий, спокойный, в синей рабочей куртке, с небольшим рюкзаком за спиной. Ларс поставил рюкзак у рубки, посмотрел на причал, на фьорд, на воду. Потом — на Тома.

— Доброе утро, капитан, — сказал Ларс. Ровно, без улыбки, без хмурости. Боцман. Правая рука. Человек, который делает так, чтобы слова Тома становились делом.

— Вечер, — поправил Том. — Ты рано.

— Рано — это вовремя, — сказал Ларс. — Сеть проверить нужно. Лебёдку. Крепления. Хочу завтра с утра без спешки.

— Давай.

Ларс кивнул и ушёл — на нос, к тралу. Работать. Том смотрел ему вслед и думал: четырнадцать лет вместе. Четырнадцать лет Ларс — его боцман, его правая рука, его тень. Ларс не спорил, не возражал — он делал. Когда Том говорил «нужно» — Ларс делал. Когда Том молчал — Ларс всё равно знал, что нужно, и делал. Это было не подчинение. Это было доверие. Глубокое, молчаливое, как море.

К семи собрались почти все.

Питер пришёл с гитарой — маленькой, потёртой, с порванной струной. Зачем гитара на рыбалке — непонятно, но Питер без неё не выходил в море. Он говорил: «Гитара — это как аптечка. Не нужна, пока не нужна. А когда нужна — без неё никак». Питер был из тех людей, которые шутят, когда страшно, и молчат, когда весело. Странная порода. Но на судне — нужная.

— Капитан! — Питер поднялся на борт, помахал гитарой, как флагом. — Я тут! Можно начинать!

— Начинать — что? — спросил Том.

— Ну... всё! Рейс! Приключения! Деньги!

— Завтра, — сказал Том. — Сегодня — груз.

— Сегодня — груз, завтра — деньги, послезавтра — слава, — Питер усмехнулся. — Я готов тащить. Что тащить?

— Лёд. В трюм. Левый борт.

— Есть, — Питер отдал честь — не поморски, поармейски, и не той рукой. — И пошёл таскать лёд.

Ян пришёл с татуировкой. Новый — на предплечье, орнамент, чёрный, ещё не до конца заживший. Ян был суеверен до одури: татуировки, обереги, амулеты. Не свистел на борту, не выходил в пятницу (но сегодня суббота, значит, можно), не брал чёрный хлеб (причина забыта, но правило свято). При этом — отличный работник, надёжный, крепкий. Том не любил суеверий, но терпел, потому что Ян работал так, что отказывать было грех.

Ян поднялся на борт, и первое, что сделал, — снял рюкзак, достал из него маленький мешочек, кожаный, потёртый, на шнурке. Мешочек был старый — старше Яна, старше его отца. Внутри — обереги: камень с отверстием, медвежий клык, монета. Он повесил мешочек на шею, поверх свитера. Потом подошёл к правому борту, положил ладонь на металл. Закрыв глаза. Постоял. Перекрестился.

Питер, таскавший лёд, остановился, посмотрел.

— Ян, ты каждый раз.

— Да.

— И помогает?

— Мы живы?

— Ну да.

— Ну вот.

Питер усмехнулся. Не зло, не насмешливо — посвойски. Разница между ними была проста: Питер боялся и шутил, Ян боялся и молился. Результат — один.

Карл пришёл с сумкой продуктов. Тяжёлой, громоздкой, пахнущей мясом и специями. Карл — тучный, краснолицый, ворчливый — был кок, и этим всё сказано. Он кормил так, что люди возвращались с рейса на три кило тяжелее. Его рагу из трески со сливками и укропом было легендарным, а хлеб, который он пёк в камбузной печке, — мягким и тёплым, как подушка.

— Карл! — Питер бросил ящик со льдом. — Ты принёс еду?

— Я принёс страдание, — сказал Карл, поднимаясь на борт. — Еда — это побочный продукт. Сегодня я готовлю ужин. Десять человек. В каюте, которая размером с гроб. На плите, которая нагревается, когда хочет. И меня будет тошнить. Как всегда. Первый день — всегда.

— Карл, ты же не выходишь на палубу. Ты на камбузе. Какая качка?

— Качка, Питер, — это не снаружи. Качка — изнутри. Мой желудок — отдельное существо, и оно знает, что мы в море, и оно не согласно.

— Мы ещё не в море.

— Мой желудок — уже. Он — впереди.

Карл ушёл на камбуз. Через минуту — запах. Лук. Масло. Чтото жарилось. И Том подумал: хорошо, что Карл есть. Хорошо, что кто-то на этом судне не ловит, не чинит, не проверяет, а просто кормит. Кормит так, что ты сыт. А сытый — жив.

Микаэль пришёл с ноутбуком. Ноутбук был его оружием: он прокладывал маршруты, считал расход топлива, рассчитывал время, прикидывал прибыль. Микаэль — двадцать семь, молодой, быстрый, амбициозный — мечтал о собственном судне. О новом, большом, современном, с компьютерами и автопилотом. «Марлин» для него — ступенька. Не последняя, но и не первая. Он был умён — слишком умён для своих лет, и Том это ценил и побаивался. Умные люди опасны: они задают вопросы, на которые нет ответа.

— Капитан, — сказал Микаэль, поднимаясь в рубку, — я смотрю прогноз. Обновление в шесть вечера. Давление — 1013, ровно. Ветер — югозапад, пятьсемь. К вечеру завтра — ветер с севера, до пятнадцати. Шторм на севере.

— Я слышал.

— Я проложил маршрут. До банок Фроя — девять часов хода. Топлива хватит на четыре дня работы и обратный путь. Если идём два трала — пятнадцать часов работы, если три — двадцать два. Рекомендую два, с запасом на погоду.

— Если два не хватит — пойдём третий.

— Третий — это запас. Если давление упадёт быстрее — третий будет рискованный.

— Микаэль, я ценю твой расчёт. Но решаю я.

— Я знаю. Я считаю, а вы решаете. Так и должно быть.

Том посмотрел на него. Молодой. Умный. Прав. Но Том — капитан, и это не потому, что он умнее, а потому, что он отвечает. Микаэль считает, но если цифры врут, тонет не Микаэль. Тонет Том. И все остальные. Эта разница — между расчётом и ответственностью — и есть то, что делает капитана капитаном.

Микаэль это знал. Знал и уважал. Но всё равно считал.

Свен пришёл тихо.

Как всегда. Он не сказал «добрый вечер», не кивнул, не улыбнулся. Просто поднялся на борт, поставил сумку у рубки, огляделся привычным, цепким взглядом, который всё видел и ничему не удивлялся. Свен — тридцать восемь, коренастый, с короткой стрижкой и тёмными кругами под глазами, которые не проходили ни от сна, ни от кофе, потому что были не от усталости, а от жизни.

Дочка — Эмма, шесть лет. Температура. Свен воспитывал её один: жена ушла три года назад, переехала в Осло, звонила раз в месяц, когда помнила. Денег с рейса Свен ждал как воздуха — за аренду, за садик, за еду, за врача. Он не говорил об этом. Но все знали.

Свен достал из сумки рисунок — Эммин, на котором была нарисована лодка. Маленькая, красная, с флажком, на котором написано «ПАПА». Вокруг — море, синее, с волнами, и солнце, жёлтое, с лучами, и рыба — одна, большая, улыбающаяся. Свен посмотрел на рисунок. Сложил. Положил во внутренний карман куртки, поближе к груди. Рисунок маленькой девочки, которая ждёт. Вот что его оберег. Не камень с отверстием. Не медвежий клык. Не татуировка.

— Свен, — Питер, с ящиком льда на руках, — ты чего молчишь?

— Думаю, — сказал Свен.

— О чём?

— О работе.

— Только о работе?

Свен посмотрел на Питера. Долгий взгляд. Питер понял — отступил.

— Ладно, ладно. Молчи. Я и так знаю.

Свен кивнул. И пошёл таскать лёд.

К девяти вечера трюм был загружен. Ящики со льдом — ровно, по три, переложённые досками. Продукты — на камбузе, Карл уже разбирал, ворча и ругаясь на маленькую печку, которая не открывалась. Снасти — проверены, Ларс перепроверил ещё раз. Топливо — залито, Бьёрн прислал счёт, Том посмотрел на цифру и убрал бумагу в карман. Счёт — потом. Сейчас — другое.

Карл накормил ужином. Рыбачье рагу: треска, картошка, сливки, укроп. Хлеб — свежий, тёплый, с хрустящей коркой. Кофе — чёрный, крепкий, обжигающий. Ели в каюте — тесной, с низким потолком, на скамьях вдоль стен. Молча, в основном. Питер болтал, конечно. Бруно ел молча, аккуратно, медленно. Эрик — быстро, не поднимая глаз. Ян — отдельно, у стены, шевеля губами между кусками. Свен — быстро, не поднимая головы. Микаэль — с ноутбуком, ел и смотрел на экран. Ларс — аккуратно, с салфеткой.

Ужин — это ритуал. Последний вечер на берегу. Завтра — море. Завтра — качка, холод, работа, усталость. А сегодня — рагу Карла, хлеб, кофе, тепло. Сегодня — хорошо.

После ужина — палуба. Ночь. Туман ушёл, но небо — низкое, тяжёлое, без звёзд. Ветер — южный, слабый, но холодный. Фонарь на причале — жёлтый, один. Чайки спали, молча, на крышах.

Том стоял у борта и смотрел на воду. Чёрная, неподвижная, тихая. «Марлин» — тихий, ждущий. Завтра — отход. Завтра — фьорд, море, банки, трал, рыба, деньги, зима. Круг. Бесконечный, как само море.

И вот то чувство — опять. Не тревога. Не страх. Чтото. Как будто море сегодня выглядело не так. Не плохо — не так. Как будто оно чего-то ждало. Как будто тишина перед ним была не пустая, а полная.

Том тряхнул головой. Чушь. Суеверия. Это у Яна, не у него. Он — капитан. Он идёт в море. Он вернётся. Всё как всегда.

Лукас поднялся на борт в десять. Последний.

Все уже были тут: поужинали, разошлись по каютам, кто-то лежал, кто-то читал. «Марлин» был жив — тихий, тёплый, гудящий, как дом, в котором горит свет. А Лукас стоял на причале, с рюкзаком — маленьким, школьным, потёртым, с брелоком в виде рыбки, — и смотрел на судно.

Он стоял и смотрел. Долго. Минуту, может, две. Том видел его из рубки: стоял, смотрел. Ларс видел его с палубы: стоял, смотрел. Бруно видел его с кнехта, где курил последнюю сигарету: стоял, смотрел.

Лукас — девятнадцать лет. Тонкий, невысокий, с тёмными волосами, которые падали на лоб, и глазами — тёмными, серьёзными, слишком серьёзными для девятнадцати. Лицо —

молодое, почти детское, но глаза — нет. Глаза были взрослые. Глаза сына рыбака, который утонул.

Хокон — отец Лукаса. Тонул в 2010м, когда Лукасу было семь. Хокон ходил на небольшом судне — «Орла» — к западу от Лофотенских островов. Шторм, волна, пробоина. «Орла» ушла под воду за четыре минуты. Четверо из пятерых выжили. Хокон — нет. Его тело нашли через два дня, в сорока милях от места.

Лукас помнил отца плохо, обрывками: руки, голос, запах, рыбу, лодку. Мама плачет. Мама не плачет. Мама отпускает. «Ты не пойдёшь в море, Лукас. Никогда». Но он шёл. Потому что надо. Потому что работы нет. Потому что отец ходил, и дед ходил, и прадед ходил. Потому что море — это не профессия. Это судьба. От неё не уйдёшь.

Он поднялся на борт. Рюкзак — на плечо, нога — на планшир, рывок — и он на палубе. Мягко, тихо. Спортивный: бегал, плавал, занимался в школе. Руки — крепкие, но не рабочие. Белые. Ладони — без мозолей. Всё это — впереди.

Бруно стоял у мачты, смотрел. Лукас огляделся, увидел Бруно. Бруно смотрел на него прямо, без улыбки, без хмурости. Просто смотрел. Как смотрят на новых. Как смотрят на молодых. Как смотрят на тех, кто ещё не знает, что его ждёт.

— Первый рейс? — спросил Бруно.

Лукас посмотрел на него. Глаза — тёмные, серьёзные. Не испуганные — нет. Но настороженные. Как у зверя, который вошёл в новое место и ещё не решил: безопасно или нет.

— Да, — сказал Лукас. Тихо, ровно. Не тихо от страха — тихо от осторожности.

Бруно осмотрел парня сверху вниз, медленно, основательно. Обувь — новая, кроссовки, не рыболовецкая. Штаны — джинсы, промокнут за час. Куртка — нормальная, непромокаемая, но тонкая. Руки — белые. Лицо — молодое, но глаза — нет. Глаза Бруно видел такие. У тех, кто терял. У тех, кто знает, что море берёт.

— Не бойся, — сказал Бруно.

Пауза. Лукас не ответил. Не потому, что не хотел, — потому что боялся, и знал, что боится, и не хотел врать.

— Бояться начнёшь на третьи сутки, — добавил Бруно.

И хлопнул его по плечу. Мягко, но ощутимо. Как отец — сына. Как старик — молодого. Как тот, кто знает, — того, кто не знает.

Это звучало как шутка. Бруно так и задумал — как шутку. Но не совсем. Потому что на третьи сутки «Марлин» будет в открытом море, и если шторм придёт раньше, чем обещали, и если сеть потянет что-то не то, и если ночью вахта услышит то, чего не должна слышать... тогда — да. Тогда бояться начнёшь.

Бруно это знал. Он ходил в море сорок лет. Он видел, как бояться. Видел, как ломаются. Видел, как молодые, весёлые, сильные на третьи сутки становятся тихими, послушными, маленькими. Море делает это. Море не спрашивает, готов ли ты. Море приходит.

— Спасибо, — сказал Лукас. Просто. Без улыбки, без хмурости. Просто спасибо.

Бруно кивнул.

— Иди, познакомься с ребятами. Карл на камбузе — он тебя накормит, если не лень. Потом к Ларсу — он даст тебе работу. Сегодня помогаешь на палубе. Вопросы?

— Нет, — Лукас покачал головой.

— Хорошо. И ещё: держись подальше от лебёдки. Она не прощает.

— Понял.

— Иди.

Лукас пошёл. Бруно смотрел ему вслед: спина прямая, шаг ровный, рюкзак на одном плече. Парень крепкий. Но первый рейс. Первое море. Первое всё.

Том стоял в рубке. Один. Свет — тусклый, от лампы над штурвалом, которая мигала, потому что контакт отходил — Эрик обещал починить, забыл. За окном — ночь, причал,

фонарь. «Марлин» — тихий. Команда — по каютам. Спали, наверное. Или нет. Карл ворчал на камбузе, мыл посуду. Эрик внизу, с двигателем, как всегда. Ларс читал, наверное, свой детектив. Питер перебирал струны гитары, тихо, чтобы не будить. Ян молился, наверное, или считал татуировки. Свен смотрел на рисунок дочери, наверное, в тишине, в темноте. Микаэль считал, наверное, цифры в экране. Лукас не спал, точно. Лежал на койке, смотрел в потолок, слушал незнакомые звуки незнакомого судна, и первое море плыло под ним, и первая ночь была длинной, и первое всё — впервые.

Десять человек. Десять жизней. Десять причин вернуться.

Том положил руки на штурвал. Холодный. Знакомый. Завтра он поведёт «Марлин» из порта, через фьорд, в море. Через туман, через волну, через ветер. К рыбным банкам. К треске. К деньгам. К зиме. К весне. К новому рейсу. Круг.

Он стоял и смотрел в темноту, и чувство — не тревога, не страх, что-то — сидело в груди, маленькое, тёплое, раздражающее, как заноза.

Завтра.

«Марлин» ждал. Море — тоже.

Том не оглядывался. Он никогда не оглядывался.

Глава 2: Люди на борту

Бруно проснулся в пять утра.

Не потому, что поставил будильник, — будильников он не признавал, говорил, что организм надёжнее любых часов. Просто в пять утра что-то щёлкало у него в голове, и он открывал глаза — и всё. Так было каждый день рейса. Так было каждый день дома. Жена — Астрид, двадцать восемь лет вместе, — давно перестала удивляться. Она просто говорила: «Ты как эти твои рыбы. Встаёшь, когда захочешь, а не когда надо».

Бруно лежал на узкой койке в общей каюте «Марлина».

Он сел на койке. Спустил ноги на холодный металлический пол — привычно, без недовольства. Холод — нормально. Холод — это сигнал. Холод значит, что пол на месте, судно на месте, мир на месте.

Первое дело — руки. Бруно поднял руки, повернул, осмотрел. Пальцы — толстые, узловатые, с загрубевшей кожей и старыми шрамами — от тросов, от ножа, от рыбьих костей. Суставы болели — всегда, в холод сильнее. Артроз, врач сказал два года назад: «Вам бы на берег, Бруно». Бруно кивнул и пошёл в море. На берег — это для тех, у кого берег есть. У Бруно берег был: дом, жена, огород, собака. Но без моря берег — это просто место, где ждёшь.

Руки работали. Не так, как в двадцать, но работали. Сжать — разжать. Сжать — разжать. Хватка крепкая. Нормально.

Второе дело — нож.

Бруно сунул руку под подушку. Пальцы нащупали рукоятку — берестяную, тёплую, потемневшую от жира и пота. Нож был на месте. Как всегда. Бруно вытащил его, положил на колено, посмотрел.

Нож был старый, норвежский, «Helle», с берестяной рукояткой, потемневшей от тридцати лет работы. Лезвие — острое, как бритва, потому что Бруно точил его каждый вечер. Каждый вечер — тридцать лет. Это был ритуал, как молитва, как чистка зубов, как проверка снастей. Нож — это продолжение руки. Рука без ножа — просто рука. Рука с ножом — инструмент.

Он провёл пальцем по лезвию — осторожно, привычно. Острый. Хорошо.

Тридцать лет. Тридцать лет он выходил в море и ни разу — ни разу — не забыл нож. Не потому, что у него память хорошая. Потому что нож — это не вещь. Нож — это часть его. Как рука, как глаз, как сердце. Забыть нож — это как забыть сердце дома. Не работает.

Бруно помнил, как начинал. Ему было шестнадцать, первый рейс, и он всё забыл — свитер, перчатки, фонарик. Всё забыл. Но не нож. Нож ему дал отец — молча, без слов, просто положил на стол, рядом с рюкзаком. Бруно взял. Положил в карман. И с тех пор — тридцать лет — нож был с ним. В каждом рейсе. В каждой ночи. Под подушкой, в кармане, в руке. Отец давно умер — сердце, зимой, в шестьдесят два. Нож остался. Бруно точил его каждый вечер и каждый вечер думал об отце — не словами, не воспоминаниями, а тем, как лезвие скользит по камню. Размеренно. Ровно. Как дыхание. Как прилив.

Он встал, натянул штаны — рабочие, серые, с карманами на бёдрах. Свитер — тёмно-синий, грубой вязки, который жена связала ему пятнадцать лет назад и который уже давно должен был развалиться, но не разваливался, потому что Астрид вязала так, как строили корабли, — на века. Ботинки — тяжёлые, с подкованными носками, скрипучие. Куртка — ветровка, поверх свитера, потому что на палубе будет холоднее.

Он поднялся на палубу. Туман. Холод. Тишина. Причал — пустой, мокрый; жёлтый фонарь — один, как глаз циклопа. Чайки спали — удивительно, чайки в Стейнхьере спали только когда темно, а в пять утра было темно.

Бруно сел на кнехт — деревянный, старый, отполированный задами моряков. Посидел. Посмотрел на воду — чёрную, неподвижную. Посмотрел на туман — белый, плотный. Посмотрел на «Марлин» — тихий, ждущий.

И пошёл проверять снасти.

Эрик проснулся от звука.

Не от будильника, не от голоса, не от шагов на палубе. От звука двигателя. Точнее — от его отсутствия. Двигатель «Марлина» спал, а Эрик спал вместе с ним, но когда двигатель молчал неправильно, Эрик слышал. Даже во сне. Даже сквозь сон. Двадцать лет в машинных отделениях научили его: спишь — но слушай. Двигатель — как ребёнок: если молчит — или спит, или плохо. А если плохо — нужно идти.

Он сел на койке, прислушался. Тихо. Двигатель молчит. Ну да — они ж в порту, ещё не вышли. Всё нормально. Эрик выдохнул, провёл рукой по лицу — мокрому, тёплому, отоспавшемуся. В каюте — темно, тепло, пахнет маслом и металлом. Этот запах — его запах. Он его не замечал. Как не замечают воздух.

Эрик — тридцать пять, худой, жилистый, с короткими русыми волосами и лицом, которое загорало неравномерно: белым вокруг глаз, где очки, и тёмным везде остальным. Очки — старые, в металлической оправе, с трещиной на правом стекле, которую он заклеил скотчем и не менял, потому что «работает же». Говорил мало. Шутил мрачно. Из тех, кто в комнате, полной людей, находит единственного, кто молчит, и садится рядом. Не потому, что не любит людей. Потому, что с молчащими проще.

Он посмотрел на свою левую руку. Безымянный палец — сломан, сросся криво, торчал под углом, который заставлял врачей морщиться. Старая травма — семь лет назад, в машинном отделении другого судна. Трос лопнул, мотнуло, палец — в сторону. Эрик вправил сам, на месте, потому что до порта было два дня, а врача — не было. В порту сделали рентген, сказали: «Надо было сразу, теперь — криво». Эрик: «А теперь?» Врач: «А теперь поздно». Эрик: «Ну и ладно. Мне этот палец не мешает». Мешал. Чуть-чуть. Но Эрик никогда не признавался.

Он встал, оделся — быстро, без суеты. Майка, рубашка, свитер, комбинезон — серый, промасленный, с карманами, в которых всегда были инструменты. Нож — в кармане. Фонарик — в кармане. Изолента — в кармане. Эрик без изоленты — как хирург без скальпеля. Изолента решала девяносто процентов проблем в машинном отделении. Остальные десять — проволока.

Он спустился в машинное отделение. Здесь — его мир.

Двигатель — дизель, шестнадцатцилиндровый, громоздкий, как шкаф, гудящий даже в покое, потому что в нём всегда что-то работало: насосы, вентиляторы, трубки. Топливная система — паутина трубок, фильтров, клапанов. Помпа — старая, капризная, с характером. Охлаждение — забортная вода, через кингстоны — клапаны в днище, которые Эрик проверял каждый раз, потому что если кингстон потечёт, судно утонет, и это не метафора.

Эрик положил руку на двигатель. Металл — холодный, маслянистый. Он провёл ладонью по блоку, по головкам цилиндров, по топливному насосу — медленно, как слепой читает Брайль. Искал — что? Он сам не знал. Трещину. Люфт. Течь. Что-то, что не на месте. Что-то, что подскажет: вот тут — проблема. Тут — скоро будет. Тут — держится, пока.

Двигатель молчал. Но Эрик знал: утром, когда Том даст команду, он заведётся. Он всегда заводился. Эрик за этим следил.

Эрик открыл панель управления, проверил уровень масла — норма. Уровень охлаждающей жидкости — норма. Давление топлива — норма. Он записал в журнал — тетрадь в клетку, потрёпанную, с цветными закладками: «Утро. Проверка. Всё в норме. Двигатель готов. Эрик».

Он закрыл журнал, положил на место. Посмотрел вокруг — на трубы, на вентили, на гайки, на провода. На свой мир. Маленький, тесный, пахнущий маслом и дизелем, гудящий и молчащий одновременно. Здесь, внизу, он был нужен. Здесь без него ничего не работало. Здесь он был богом. Маленьким, тихим, с кривым пальцем и скотчем на очках — но богом.

Он кивнул двигателю — как коллеге — и поднялся на палубу.

Питер проснулся в шесть и сразу заулыбался.

Не потому, что утро хорошее — утро было паршивое, туман, холод, сырость. Просто Питер не умел не улыбаться. Это было как дыхание — автоматическое, неконтролируемое. Он улыбался, когда было хорошо. Улыбался, когда было плохо. Улыбался, когда было страшно. Особенно — когда было страшно.

Питер — двадцать четыре, рыжий, веснушчатый, с вечно растрёпанными волосами и глазами, которые блестели, как будто он знал какой-то секрет, которого не знал никто. Худой, жилистый, быстрый — в движениях, в словах, в мыслях. Он говорил так, как ел, — быстро, много, с удовольствием, и иногда — невпопад.

Он вылез из каюты, потянулся — хрустнуло в плечах, — и тут же:

— Ну что, утро доброе? Кто живой?

Бруно на палубе, проверял снасти:

— Тише ты. Не все ещё проснулись.

— Бруно, да кто тут спит в такой день? — Питер сел рядом, достал свою гитару — маленькую, потёртую, с порванной струной. — Я, между прочим, вчера три часа струну искал в городе. В Стейнхьере. Три часа. Знаете, сколько магазинов в Стейнхьере? Два. Один закрыт, во втором — струны нет. Пришлось у соседа брать. У соседа!

— И взял? — Бруно не отрывался от работы.

— Взял. Две кроны отдал. Он хотел три, я сторговал. Торговался, как на восточном базаре. Чуть не подрался.

— Питер, — Бруно покачал головой, — ты серьёзно?

— Две кроны — это две кроны, Бруно. Принцип.

Бруно не ответил. Питер знал: Бруно не осуждает, просто не понимает. Для Бруно две кроны — это монета, которую ты не поднимаешь с земли. Для Питера — это шутка, это игра, это повод рассказать историю. А история — это всё.

— Слушай, — сказал Питер, — анекдот помнишь? Про моряка и русалку?

— Нет.

— Ну, слушай. Плыл моряк в море. Неделю, две, месяц. Скука. И вот — русалка. Выныривает, красивая, хвост, всё такое. Моряк смотрит, русалка смотрит. Она говорит: «Ну что, моряк, хочешь со мной?» Моряк думает, чешет затылок: «А как? У тебя ж... хвост». Русалка вздыхает: «Ну, если ты только об этом думаешь...» Моряк: «А ты о чём думала?» Русалка: «Я думала, ты поговорить хочешь». Моряк: «С кем?!»

Бруно не засмеялся. Но уголок рта дёрнулся — еле заметно. У Питера это считалось за успех.

— Бруно, ты сегодня тёплый. Улыбнулся — почти. Запишу в дневник: «Бруно улыбнулся анекдоту. Больше не будет до конца рейса».

— Меньше болтай, больше работай, — сказал Бруно, но без злости. Без тепла тоже. Просто — факт.

— Работать? — Питер вскочил. — Да я готов! Где сеть? Где трос? Давай, покажите мне рыбу, я ей покажу, кто тут главный!

— Сначала кофе, — сказал Карл, появляясь из камбуза.

Карл появился, как всегда, — из ниоткуда. Один звук — шлёпанье тапок по металлу — и вот он. Тучный, краснолицый, в белом фартуке, который не скрывал, а подчёркивал живот. Волосы — короткие, седые, торчали во все стороны, как будто он спал и не причёсался. Глаза — маленькие, цепкие, всё замечающие, ничего не упускающие. Карл — сорок четыре, из которых двадцать в море, и все двадцать — на камбузе. Он не ловил рыбу, не ставил сети, не тянул трос. Он кормил. И кормил так, что слухи о его рагу выходили за пределы Стейнхьера.

— Кофе, — сказал Карл, — готов. Чёрный, как душа нашего капитана, крепкий, как голос нашего механика, горячий, как... — он запнулся, — как надежда, что в этом рейсе меня не стошнит.

— Опять? — Питер поднял бровь.

— Опять. Всегда. Первый день — меня качает. Всегда. Двадцать лет — и каждый раз первый день. Как первый раз.

— Карл, ты же не выходишь на палубу. Ты на камбузе. Какая качка?

— Качка, Питер, — это не снаружи. Качка — изнутри. Я чувствую, как судно качается, и меня качает. Даже если я стою на твёрдом полу. Даже если я держусь за стену. Мой желудок — отдельное существо, и оно знает, что мы в море, и оно не согласно.

— Мы ещё в порту, — напомнил Питер.

— Мой желудок — уже в море. Он — впереди. Он — авангард. Он чувствует качку, которой ещё нет. Вот какой у меня желудок — талантливый.

— И как ты готовишь?

— Страдая, — Карл ответил просто. — Готовка — это страдание, Питер. Искусство — это страдание. Хорошая еда — это страдание повара, переложенное в кастрюлю.

— Глубоко, — кивнул Питер.

— Я не глубоко. Я — реально. Сегодня обед: рыбацкое рагу. Треска, картошка, сливки, укроп, лук, перец. Всё свежее, всё норвежское. И всё это я буду готовить, стоя на наклонном полу, держась одной рукой за плиту, а другой — за кастрюлю, и меня будет тошнить, и я буду ругаться, и я буду готовить. Потому что если я не накормлю — вы все умрёте.

— Мы умрём от голода? — Питер засмеялся.

— Вы умрёте от тоски, — Карл поправил. — Плохая еда — тоска. Хорошая еда — жизнь. Я даю вам жизнь. А вы?

— Мы ловим рыбу, — Питер подмигнул.

— Вот и ловите. А я — страдаю.

Карл развернулся и ушёл на камбуз. Пауза. Потом — из-за двери:

— Кофе на камбузе! Кто не выпьет — без обеда!

Бруно встал, отложил снасти.

— Пошёл кофе пить. И ты иди. С гитарой потом.

— Бруно, гитара — это...

— Потом.

Питер вздохнул, но пошёл.

Ларс проснулся в шесть тридцать.

Не по будильнику — по привычке. Организм Ларса был точнее швейцарских часов, и Ларс ему доверял. Тридцать лет — и ни разу не опоздал. Ни на вахту, ни на ужин, ни на работу. Ингрид говорила: «Ты как поезд. По расписанию». Ларс отвечал: «Поезда опаздывают. Я — нет».

Он лежал на койке и слушал. Питер — наверху, с гитарой, болтает. Бруно — на палубе, проверяет снасти. Карл — на камбузе, гремит посудой. Знакомые звуки. Правильные звуки. Звуки судна, которое оживает.

Ларс — сорок один, высокий, широкоплечий, с лицом, которое в покое выглядело суровым, а в улыбке — добрым. Но улыбался он редко. Не потому, что не хотел — потому, что повода не было. Ларс был из тех людей, которые улыбаются, когда всё хорошо, и хмурятся, когда всё плохо. Ни то, ни другое — у него было лицо нейтральное, спокойное, надёжное. Лицо человека, на которого можно опереться.

Жена — Ингрид. Сыновья-близнецы — Магнус и Олаф, по одиннадцать лет. Ларс думал о них каждый день. Звонил перед рейсом, всегда. Вчера позвонил в шесть — они ещё спали. Ингрид ответила: «Они спят. Им всё ещё не верится, что ты уезжаешь». Ларс: «Я тоже не

верю». Ингрид: «Ты вернёшься». Ларс: «Всегда возвращаюсь». Ингрид: «Звонок — каждый день». Ларс: «Всегда». Он повесил трубку. Посидел минуту. Потом встал, оделся, поехал в порт.

Он встал, оделся — быстро, без суеты. Майка, свитер, рабочий комбинезон — синий, с карманами. Ботинки — тяжёлые, на шнуровке. Телефон — старый, с кнопками, без интернета — в карман. Ларс не любил смартфоны. Не из принципа — просто не видел смысла. Зачем ему интернет в море? В море — море. На берегу — берег. Всё просто.

Первое дело на борту — груз. Ларс спустился в трюм, осмотрел. Ящики со льдом — Лукас вчера таскал, и Ларс отметил: парень работает аккуратно, не торопится, не роняет. Лёд — правильный, сухой, белый. Ящики — чистые. Трюм — чистый, без запаха (Эрик вымыл после прошлого рейса). Ларс проверил крепления: ящики стояли ровно, стопки — по три, переложенные досками. Нормально.

Он поднялся на палубу, проверил сети. Трал — сложен, связан, уложен. Поплавки — Ларс считал сам, пересчитал: все на месте. Грузила — все на месте. Сеть — без дыр, без потёртостей, свежая после ремонта. Ларс провёл рукой по ячеям — мелкие, ровные, узлы тугие. Хорошо.

Он подошёл к лебёдке. Гидравлика — подтекает. Еле заметно: капля за минуту. Ларс вытер пальцы, понюхал. Масло. Гидравлическое. Негусто, но течёт. Он посмотрел — откуда. Шланг, соединение, хомут. Хомут ослаб. Ларс достал из кармана отвёртку, подтянул. Капля замедлилась. Не остановилась, но замедлилась. Он отметил в голове: сказать Эрику. Эрик скажет: «Знаю». Эрик всегда знал. Но Ларс говорил, потому что так — правильно. Боцман не молчит, боцман докладывает.

Том был в рубке. Ларс поднялся.

— Доброе утро, капитан.

— Утро. Трал проверил?

— Проверил. Сеть в порядке, поплавки заменил, два коннектора подкрутил. Грузила все на месте.

— Лебёдка?

— Эрик сказал — гидравлика держит. Пока.

— Пока — это хорошо, — Том усмехнулся. — Пока — это всё, что нам нужно.

Ларс кивнул. Пауза. Он хотел сказать что-то, но не сказал. Том это заметил.

— Что?

— Ничего. Всё в порядке.

— Ларс, — Том посмотрел на него, — я вижу, что ты хочешь сказать. Говори.

— Я хочу сказать: ты как? Нормально?

— Нормально.

— Точно?

— Ларс, я в порядке. Готов?

— Готов.

— Тогда готовим.

Ларс кивнул и спустился. Он знал Тома — четырнадцать лет вместе. Знал, когда Том молчит, потому что нечего сказать, и когда молчит, потому что есть что, но не хочет. Сегодня — второе. Ларс чувствовал это. Как Эрик чувствовал двигатель — не ушами, а чем-то другим, чем-то, чему нет названия.

Но Ларс не спрашивал дважды. Не его это — давить. Его — рядом. Рядом и готовый. Так было, так будет.

Микаэль проснулся в семь, не сразу.

Он вообще не любил вставать — не потому, что ленивый, а потому, что сны были интереснее. Во сне Микаэль был капитаном. Не «Марлина» — нового судна, шестьдесят метров,

белого, с вертолётной площадкой и спутниковой связью. Во сне он стоял на мостике и смотрел на океан, и океан был его. А потом просыпался — и был помощником на старом рыжем «Марлине», с аналоговыми приборами и текущей гидравликой. Разница.

Микаэль — двадцать семь, стройный, темноволосый, с лицом, которое выглядело моложе, чем было, и это его раздражало. Он хотел выглядеть старше — серьёзнее, опытнее, солиднее. Для этого носил очки — не для зрения, а для вида. Тонкие, прямоугольные, без диоптрий. Карл однажды спросил: «У тебя минус или плюс?» Микаэль: «Ничего. Это для образа». Карл: «Для образа? Ты в море идёшь, а не на собеседование». Микаэль: «Всё серьёзно, Карл. Всегда».

Он поднялся в рубку с ноутбуком и чашкой кофе из того кафе на углу, которое одно в Стейнхьере варило кофе, а не варево. Ноутбук — на стол, открыть, загрузить. Метеостанция — сайт метеоинститута, прогноз, карты давления, карты ветра, карты волны. Микаэль работал с данными, как Эрик с двигателем, — руками, по опыту, но с инструментом. Инструмент Микаэля — цифры. Он верил в цифры. Не слепо — он знал, что прогноз врёт, но врал, по его мнению, потому что данные были неполными, а не потому что цифры не работают. Дай ему больше данных — и он даст точный ответ.

— Капитан, — сказал Микаэль, — я смотрю прогноз. Обновление в шесть утра. Давление — 1013, ровно. Ветер — юго-запад, пять-семь. Волна — полтора. К вечеру — ветер с севера, до пятнадцати. Шторм на севере, к западу от нас.

— Я слышал, — Том не отрывал глаз от палубы, где Питер изображал из себя что-то с гитарой.

— Я проложил маршрут. До банок Фроя — девять часов хода, средний расход — двенадцать узлов. Топлива хватит на четыре дня работы и обратный путь. Если идём два трала — пятнадцать часов работы, если три — двадцать два. Рекомендую два, с запасом на погоду.

— Если два не хватит — пойдём третий.

— Третий — это запас. Если давление упадёт быстрее — третий будет рискованный.

— Микаэль, я ценю твой расчёт. Но решаю я.

— Я знаю, — Микаэль кивнул. — Я считаю, а вы решаете. Так и должно быть.

Том посмотрел на него. Молодой. Умный. Прав. Но Том — капитан, и это не потому, что он умнее, а потому, что он отвечает. Микаэль считает, но если цифры врут, тонет не Микаэль. Тонет Том. И все остальные. Эта разница — между расчётом и ответственностью — и есть то, что делает капитана капитаном.

Микаэль это знал. Знал и уважал. Но всё равно — считал.

Ян проснулся в семь пятнадцать и первое, что сделал, — проверил обереги.

Это был ритуал — ежедневный, обязательный, как умывание. Ян сел на койке, достал из-под свитера кожаный мешочек на шнурке. Мешочек был старый — старше Яна, старше его отца, старше, может, деда. Внутри — обереги: камень с отверстием — «куриный бог», найденный на берегу, означающий защиту; клык — медвежий, купленный на ярмарке в Тромсё, означающий силу; монета — старая, норвежская, стёртая, означающая... Ян не помнил, что означала монета. Но носил. Потому что оберег.

Он пересчитал. Камень — на месте. Клык — на месте. Монета — на месте. Три. Хорошо. Три — правильное число. Три — это Троица, это три волны, это три дня. Ян любил число три. Не любил число тринадцать. Не любил чёрных кошек, свист на борту, бритё в день отхода. Не мыл палубу в понедельник. Не смотрел на прибывающее судно — только на отплывающее. Суеверий было много — так много, что запомнить все невозможно, но Ян старался. Это была его вера — не церковная, не книжная, а своя, морская, собранная из обрывков и поверий, как мозаика из осколков.

Ян — тридцать два, крепкий, темноволосый, с лицом, которое было бы красивым, если бы не глаза — тревожные, быстрые, всё время бегающие, как будто искали что-то, что потеря-

лось. На руках — татуировки. Много. Двенадцать. Каждая — на удачу. Последняя — свежая, на предплечье: чёрный кельтский орнамент, переплетение линий, узлов, звериных голов. Кожа ещё красная, припухшая. Ян погладил её — осторожно, как животное. Почесалась. Хорошо. Чешется — значит, заживает. Заживает — значит, работает. Удача — пришла.

Он встал, оделся — быстро, собранно. Ян всегда собирался быстро, потому что медленно — это думать, а думать — это сомневаться, а сомневаться — плохая примета. Особенно перед рейсом.

Ян поднялся на палубу и подошёл к правому борту. Положил ладонь на металл. Холодный, мокрый, шершавый от соли. Он закрыл глаза. Постоял. Потом перекрестился. Не скромно, не быстро, не для вида. По-настоящему. Три пальца — лоб, грудь, правое плечо, левое. И губы шевельнулись, беззвучно, но слова были: «Боже, благослови это судно и всех, кто на нём. Верни нас домой. Аминь».

Он открыл глаза. Убрал руку. И повернулся — а Питер стоял рядом, пил кофе, смотрел.

— Ян, ты каждый раз. Каждый рейс.

— Да.

— И помогает?

— Мы живы?

— Ну да.

— Ну вот.

Питер усмехнулся. Не зло, не насмешливо — по-свойски. Ян не обиделся. Они давно всё выяснили: Питер не верил, Ян верил. Питер шутил, Ян не шутил. Оба работали. Оба на борту. Разница в том, что Питер боялся и шутил, а Ян боялся и молился. Результат — один. Люди разные, страх — один.

— Новая? — Питер кивнул на татуировку, которая выглядывала из-под рукава.

— Да.

— Зачем?

— На удачу.

— Ян, у тебя уже двенадцать татуировок. И каждая — на удачу. Сколько удачи нужно?

— Много, — Ян закатал рукав обратно. — Удачи не бывает много.

Питер покачал головой, но промолчал. Ян — отличный работник. Татуировки — его дело. Если ему помогает — пускай. В море всё, что помогает, — хорошо. Всё, что мешает, — плохо. Татуировки не мешают. Значит — хорошо.

Свен проснулся без слова.

Вообще — без звука. Свен умел просыпаться тихо, как рыбы — без всплеска, без ряби. Просто открыл глаза — и всё. Лежал, смотрел в потолок, слушал. Питер — с гитарой. Бруно — на палубе. Карл — на камбузе. Знакомые звуки. Чужие звуки. Звуки дома, который не дом. Свен лежал и думал об Эмме.

Эмма — шесть лет. Температура вчера — тридцать восемь и пять. Соседка Грета, которая приходит в шесть, когда Свен уходит. Грета — семьдесят три, добрая, но медлительная, и Эмма у неё капризничает, потому что не мама. Мама — в Осло, звонит раз в месяц, если помнит. Свен не ругает, не злится — просто живёт. Воспитывает один. Работает в море. Ждёт денег с рейса, как ждут дождя в засуху.

Перед отъездом вчера он стоял в дверях. Эмма — в кровати, с термометром, с плюшевым котом, который был больше неё. Грета — на кухне, варила кашу, медленно, как всё. Эмма смотрела на Свена — серьёзно, без слёз. Она привыкла. Папа уходит — это нормально. Папа возвращается — это праздник. Между уходом и возвращением — ожидание. Она умела ждать. Шесть лет — и уже умела. Это грустно. Дети не должны уметь ждать.

— Папа, — сказала Эмма, — ты принесёшь рыбу?

— Принесу.

- Большую?
- Большую.
- С зубами?
- С зубами.
- А она не укусит?
- Нет. Я её поймаю. Она тебя не укусит.
- Обещаешь?
- Обещаю.

Свен поцеловал её в лоб. Горячий. Температура. Он постоял секунду, потом встал, взял сумку, вышел. На пороге обернулся. Эмма — махала. Маленькой рукой, медленно, как флаг в безветрие.

Свен достал из кармана комбинезона рисунок — Эммин, на котором была нарисована лодка. Маленькая, красная, с флажком, на котором написано «ПАПА». Вокруг — море, синее, с волнами, и солнце, жёлтое, с лучами, и рыба — одна, большая, улыбающаяся. Свен посмотрел на рисунок. Сложил. Положил во внутренний карман куртки, поближе к груди. Поверх всего — свитер, куртка, обереги Яна, молитвы, татуировки. Рисунок дочери — ближе всего к телу. Вот что его оберег. Не камень с отверстием. Не медвежий клык. Рисунок маленькой девочки, которая ждёт.

Свен — тридцать восемь, коренастый, с короткой стрижкой и тёмными кругами под глазами, которые не проходили ни от сна, ни от кофе, потому что были не от усталости, а от жизни. Он не сказал «доброе утро», не кивнул, не улыбнулся. Просто поднялся на палубу, поставил сумку у рубки, огляделся — привычным, цепким взглядом, который всё видел и ничему не удивлялся.

- Свен, — Питер, с кофе, — ты чего молчишь?
- Думаю, — сказал Свен.
- О чём?
- О работе.
- Только о работе?

Свен посмотрел на Питера. Долгий взгляд. Питер понял — отступил.

— Ладно, ладно. Молчи. Я и так знаю.

Свен кивнул. И пошёл проверять снасти на носу.

Карл выглянул из камбуза в восемь.

— Завтрак! Кто хочет — подходи! Кто не хочет — голодай!

Питер — первым, естественно. Бруно — за ним, не торопясь. Эрик появился откуда-то, весь в масле, сел, молча ел. Ларс — аккуратно, с салфеткой. Микаэль — с ноутбуком, ел и смотрел на экран. Ян — последним, сел отдельно, у стены, не рядом с другими. Не потому, что не хотел — потому что так привычно.

Камбуз «Марлина» — это не кухня. Это камера. Два метра на три, плита — маленькая, газовая, с одной работающей конфоркой и одной, которая зажигалась только если стукнуть по ней кулаком (Карл стучал, регулярно). Раковина — маленькая, с ржавым краном, из которого шла холодная вода, потому что бойлер грел воду, когда хотел, а хотел он редко. Стол — откидной, на одного, но Карл ставил на него три тарелки в ряд, и получалось — на двоих. Остальные ели в каюте — общей, с низким потолком, на скамьях вдоль стен.

На столе — хлеб, свежий, который Карл испёк ночью. Масло — норвежское, густое, жёлтое. Сыр — брунуст, коричневый, карамельный, который любил Бруно и не любил Питер, но ел, потому что Карл не давал выбора. Кофе — чёрный, крепкий, обжигающий. И рыба — холодная, копчёная, тонко нарезанная, с лимоном. И яйца — сваренные вкрутую, ровные, белые, как камешки.

- Карл, — Питер жевал, — ты бог. Ты это знаешь?

— Знаю, — Карл не улыбнулся. — Но спасибо, что напомнил.

— Нет, серьёзно. Этот хлеб. Этот сыр. Эта рыба. Ты в океане, тебя качает, тебя тошнит, и ты выпекаешь хлеб. Как?

— Страдая, — повторил Карл. — Я же сказал.

— Но мы ещё в порту, — Питер хитро прищурился. — Качки нет. Тебя не тошнит. Ты выпекаешь хлеб в нормальных условиях. Это — не страдание. Это — нормальная работа.

Карл посмотрел на него. Оценивающе. Как мясник смотрит на кусок мяса, решая, куда резать.

— Питер, — сказал он, — я тебе объясню. Страдание — это не когда качает. Страдание — это когда знаешь, что скоро качает. Это — предвкушение страдания. Самое чистое. Самое острое. Я страдаю заранее. Я — профессионал.

Питер засмеялся. Бруно — ел. Молча, аккуратно, медленно, как делал всё. Хлеб — отрезал кусок, намазал маслом, положил сыр, сверху — рыбу. Съел. Ещё кусок. Ещё. Без разговоров, без суеты. Завтрак для Бруно — это топливо, не удовольствие. Хотя — удовольствие тоже. Хлеб Карла — это удовольствие. Бруно не говорил этого, но Карл знал. Карл всегда знал.

Ларс ел и думал. О Магнусе и Олафе — они проснулись, наверно, Ингрид кормит их завтраком, такой же, может, хлеб, масло, сыр. Они спрашивают: «Где папа?» Ингрид говорит: «В море». Они говорят: «Опять?» Ингрид говорит: «Скоро вернётся». Они верят. Дети верят. Ларс тоже верил. Каждый раз.

Эрик ел молча, быстро и смотрел в стену. Не на стену — в стену. Там, за стальной переборкой, — машинное отделение. Двигатель. Помпа. Трубы. Его мир. Он слушал — даже за завтраком. Слушал: не дай бог что-то изменится. Звук ровный. Хорошо.

Микаэль ел и считал. Не в ноутбуке — в голове. Топливо — шестнадцать крон за литр, три тысячи литров — сорок восемь тысяч. Зарплата — десять человек, средняя — четыре тысячи в день на брата — сорок тысяч в сутки. Доля судна — тридцать процентов от выручки. Налоги... Он морщился, но считал. Цифры не врут. Люди врут. Цифры — нет.

Ян ел отдельно, тихо, и между кусками губы шевелились. Не молитва — привычка. Он шевелил губами, когда думал. А думал он о том, что татуировка чешется, что обереги на месте, что день — суббота (хорошо, суббота — можно), что Лукас — новенький (плохо, новенький — перемены, а лучше без перемен).

Свен ел быстро, не поднимая головы. Хлеб, сыр, рыба, кофе. Готовился к работе, не к разговору.

Лукас поднялся на палубу в восемь тридцать.

Он не спал. Почти. Лежал на койке — узкой, жёсткой, с тонким матрасом, который пах стиральным порошком и чужим потом — и слушал. Ночь на судне — это не тишина. Это звуки. Стон металла. Плеск воды за бортом. Треск дерева где-то в надстройке. Скрип швартовых. И гул — низкий, глухой, едва слышный, как будто судно дышало. Лукас лежал и слушал, и звуки были чужие, незнакомые, и он думал: к ним нужно привыкнуть. Или не привыкнуть — а принять. Как погоду. Как соль на коже. Как холод.

Он думал об отце. Не мог не думать — здесь, на судне, в каюте, на койке, в темноте. Хокон — лицо, обрывками. Руки — большие, как у Бруно. Голос — низкий, тихий. Запах — рыба, масло, соль. Лодка — маленькая, красная. Мама — плачет. Мама — не плачет. Мама — отпускает. «Ты не пойдёшь в море, Лукас. Никогда». Но он шёл. Потому что надо. Потому что работы нет. Потому что отец ходил, и дед ходил, и прадед ходил. Потому что море — это не профессия. Это судьба. От неё не уйдёшь.

Лукас встал, оделся — тихо, чтобы не разбудить. Джинсы, свитер, куртка. Кроссовки — новые, белые, глупые. Он посмотрел на них и подумал: Бруно вчера смотрел на его обувь. Смотрел — и молчал. Молчание было красноречивее слов. Кроссовки на рыболовном судне

— это как сандалии на стройке. Глупо и опасно. Но других нет. Будут — потом. С первой зарплаты.

Он поднялся на палубу. Утро. Туман поднимался — рвался, и сквозь прорехи виднелось небо, серое, низкое. Вода — чёрная, неподвижная. Причал — мокрый, пустой. «Марлин» — тихий, живой.

Лукас огляделся. Всё — новое. Всё — впервые. Палуба, леера, лебёдка, мачта, рубка. Запах — масло, соль, металл, рыба. Звуки — гул, плеск, скрип, голоса из камбуза. Он стоял и впитывал, как губка, и чувствовал — что-то. Не страх — нет. Что-то другое. Тревога? Нет, не тревога. Скорее — ожидание. Как перед экзаменом, которого не избежать. Как перед прыжком, который ты уже решил сделать. Ты стоишь на краю, и внизу — вода, и ты знаешь, что прыгнешь, и ты знаешь, что будет холодно, и ты знаешь, что будет глубоко, и ты — прыгнешь. Потому что уже решил. Потому что назад — нельзя.

Бруно стоял у мачты. Лукас подошёл — не быстро, не медленно. Ровно. Бруно посмотрел на него — прямо, без улыбки, без хмурости. Просто — смотрел. Как смотрят на новых. Как смотрят на молодых. Как смотрят на тех, кто ещё не знает, что его ждёт.

— Доброе утро, — сказал Лукас.

— Утро, — сказал Бруно. — Спал?

— Не очень.

— Первая ночь на судне — всегда не очень. Привыкнешь. Или не привыкнешь — тогда будет хуже. — Он помолчал. — Завтракал?

— Нет.

— Иди. Карл накормит. Потом — к Ларсу, он даст тебе работу. Сегодня помогаешь на палубе.

— Понял.

— И ещё: держись подальше от лебёдки. Она не прощает.

Лукас кивнул. Посмотрел на лебёдку — мощную, грязную, с потёками масла. Трос — толстый, блестящий. Зубья — большие, тяжёлые. Лукас подумал: она действительно не прощает. Она — как море. Не злая — нет. Просто — не обращает внимания. Ты для неё — как рыба. Как волна. Как ничто.

— Иди, — повторил Бруно. — И поешь. Карл обижается, когда не едят. Не на словах — на еде. Не поел — получил макароны на ужин. Поел — получил рагу. Разница — принципиальная.

Лукас почти улыбнулся. Почти — потому что улыбаться на «Марлине» в первый день, наверно, рано. Он кивнул и пошёл на камбуз.

Карл встретил его взглядом. Оценивающим, быстрым, как инвентаризация.

— Новый, — сказал Карл. Не вопрос — констатация.

— Да, — сказал Лукас.

— Как тебя зовут?

— Лукас.

— Лукас. Хорошее имя. Садись. — Карл поставил тарелку — хлеб, сыр, рыба, яйцо. Кофе — в кружке, чёрный, крепкий. — Ешь. Всё ешь. Не оставляй. Я не ресторан — я камбуз. Остатков не держу.

Лукас сел. Посмотрел на тарелку. Хлеб — тёплый, свежий, с хрустящей коркой. Рыба — тонко нарезанная, с лимоном. Сыр — коричневый, карамельный, с запахом, который Лукас не знал. Он откусил. Вкусно. Очень вкусно. Дома он ел — макароны, сосиски, пельмени. Мама готовила — быстро, просто, без затей. Здесь — другое. Здесь — забота. В каждом куске. Хлеб Карла пах — домом. Не его домом, а вообще — домом. Тем, как пахнет кухня, когда кто-то любит тебя достаточно, чтобы испечь хлеб.

— Ну? — Карл смотрел.

— Вкусно, — сказал Лукас.

— Вкусно — это мало, — Карл хмыкнул. — Вкусно — это база. Это — хорошо. Но я стремлюсь к «не могу остановиться». Вот когда ты не можешь остановиться — вот тогда я — на месте. Ешь.

Лукас ел. Карл смотрел. Молча. Потом отвернулся к плите, и сказал — в стену, как будто себе:

— Первый рейс — это как первая любовь. Ничего не понимаешь, всё страшно, и потом — потом либо навсегда, либо никогда. У меня — навсегда. Хотя я и не ловил ни одной рыбы.

Лукас не ответил. Но запомнил. Как запоминают то, что важно, — не умом, а чем-то другим. Тем, что ниже ума. Тем, что в животе. Тем, что знает.

К девяти утра «Марлин» был жив.

Полностью, целиком, от киля до клотика. Десять человек — каждый на своём месте, каждый при деле. Бруно — на палубе, проверял снасти. Эрик — внизу, в машинном, с двигателем. Ларс — в трюме. Микаэль — в рубке, с ноутбуком и цифрами. Ян — на носу, молился — или уже помолился, но стоял у борта, смотрел на воду. Свен — на корме, молча, проверял крепления. Питер — везде, с гитарой и без, болтал, шутил, таскал, помогал. Карл — на камбузе, страдал и готовил одновременно. Лукас — рядом с Ларсом, учился. Том — в рубке, смотрел вперёд.

Десять человек. Десять жизней. Десять причин вернуться.

Том стоял у штурвала и смотрел на причал. Отход сегодня, через час.

Том положил руки на штурвал. Холодный. Знакомый. Он стоял и смотрел на фьорд — серый, плоский, ждущий. И то чувство — не тревога, не страх, что-то — сидело в груди, маленькое, тёплое, раздражающее, как заноза.

Он тряхнул головой. Выдохнул.

Всё как всегда.

«Марлин» ждал. Море — тоже.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.